

ОСВОБОДИТЕЛЬ



I

Освободитель

Евгения Небова

Освободитель. Том первый

«Автор»

2026

Небова Е.

Освободитель. Том первый / Е. Небова — «Автор»,
2026 — (Освободитель)

Александр Воскресенский, профессор и человек далеко не юный, умирает в XXI веке и приходит в себя в теле двенадцатилетнего наследника российского престола. На дворе 1830 год. Его зовут Александр Николаевич, его отец — император Николай I, а впереди лежит история, которую он слишком хорошо знает. Казалось бы, остаётся только исправлять. Но память о будущем не превращает человека в пророка. Зная, чем всё закончилось, невозможно автоматически понять, почему это произошло. И двенадцатилетний наследник начинает с самого опасного вопроса: а что, если ошибается не история, а твоё объяснение истории?

© Небова Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая	10
Глава 1	10
Глава 2	17
Глава 3	25
Глава 4	39
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Освободитель. Том первый

Пролог

Семинар начался в десять, и к половине двенадцатого Александр Маркович Воскресенский уже успел один раз рассердиться на аудиторию, дважды порадоваться и один раз поймать самого себя на ошибке. Последнее случилось не каждый день и потому ценилось особенно. На доске ещё оставалась схема, нарисованная им минут двадцать назад: падение доверия к институтам, затем политическое отчуждение, затем радикализация. Схема выглядела аккуратно, стрелки шли в одну сторону, и именно поэтому она начала раздражать его ещё до того, как студентка у окна подняла руку.

– А почему вы считаете, что падение доверия вызывает радикализацию, а не наоборот?
– спросила она.

Воскресенский уже открыл рот, чтобы ответить, и остановился. Вопрос был лучше, чем ему сначала показалось.

– Потому что я сейчас нарисовал стрелку, – сказал он.

Несколько человек засмеялись.

– Это, конечно, сильное доказательство, но попробуем найти ещё одно.

Он прошёлся вдоль стола, вернулся к доске и посмотрел на собственную схему как на чужую.

– Что ещё может одновременно снижать доверие и увеличивать радикализацию?

Аудитория ожила. Кто-то предложил экономический кризис, кто-то потерю статуса, кто-то изменение структуры медиа. Марина, та самая студентка у окна, сказала, что политически активные люди вообще могут раньше начать замечать недостатки институтов, поэтому направление причинности окажется обратным. Воскресенский кивнул, взял губку и стёр стрелку.

– Вот здесь я вам сейчас наврал.

– То есть вы тоже попались? – спросил кто-то.

– Конечно. Докторская степень не выдаётся вместе с иммунитетом к когнитивным искажениям. Было бы очень удобно, но ВАК почему-то жадничает.

Ему нравились такие минуты. Не потому, что преподаватель великодушно позволял студентам его поправить, и не потому, что из признания ошибки можно было сделать красивый педагогический жест. Ему действительно становилось приятно, когда модель ломалась в руках. Ошибка означала, что несколько минут назад он понимал предмет хуже, чем сейчас, а это почти всегда хорошая новость. В молодости он любил выигрывать споры сильнее. С возрастом удовольствие сместилось: если собеседник находил серьёзный изъян, разговор становился интереснее. Победа часто завершала мысль, хорошее возражение открывало следующую дверь.

Поэтому оставшиеся двадцать минут семинара они провели, разбирая уже не радикализацию, а способы различить причинные механизмы. Марина предложила панельные данные, парень с первого ряда спросил, что делать с самоотбором, а когда кто-то начал уверенно рассуждать о «русской национальной привычке не доверять государству», Воскресенский попросил сначала объяснить, как именно измеряется национальная привычка и где лежит контрольная группа.

– Не произносите фамилий, Марина, – добавил он, когда она слишком выразительно улыбнулась.

– Я хочу спокойно дожить до конца семестра.

После занятия его ждал заведующий кафедрой. Это было понятно по двум сообщениям в телефоне и по тому, что секретарь, обычно говорившая с ним из соседней комнаты, вышла

в коридор лично. Воскресенский сложил ноутбук, сунул в сумку пачку студенческих работ и поднялся. Колено отозвалось привычной тупой болью.

В последние годы тело всё чаще требовало учитывать себя в расписании, что Александр Маркович считал дурно организованной системой управления. Врач говорил о ходьбе, гимнастике и весе; Воскресенский признавал аргументы убедительными, покупал удобные кроссовки и затем с высокой дисциплиной не находил времени на гимнастику. Жена сказала бы, что физиология не уважает его занятость. Она вообще обладала неприятной способностью формулировать очевидное именно тогда, когда очевидное хотелось отложить.

Сергей Леонидович ждал в кабинете один. На столе стояли две чашки, но кофе в них давно остыл. Он не предложил сесть, потому что Александр и без предложения сел в кресло напротив. Несколько секунд оба смотрели друг на друга. Они знали друг друга больше двадцати лет, достаточно долго, чтобы не тратить время на обязательное выражение удивления.

– Контракт не продлевают, – сказал заведующий.

– Понятно. С какого числа?

Сергей Леонидович поморщился.

– Формально с конца месяца. Но занятия лучше прекратить сейчас.

– Кому лучше?

– Саша.

– Я не придираюсь к словам. Кому именно лучше?

Тот отвёл взгляд к окну.

– Университету.

Воскресенский кивнул.

– Университет не может оказаться в положении. В положение его ставят люди своими решениями. Кто решил?

Ответа он почти не ожидал и действительно не получил. Вместо него прозвучало привычное: сверху просили не обострять, ситуация неприятная, после последних публикаций и статуса иностранного агента всё стало сложнее, никто лично не хочет устраивать скандал. Александр слушал без раздражения, пока Сергей не сказал:

– Я ничего не могу сделать.

Тогда он поднял глаза.

– Нет. Можешь. Можешь уволиться, публично возразить, отказаться подписывать распоряжение. Просто цена каждого варианта для тебя неприемлема. Это нормально. Но это называется «не выбираю», а не «не могу».

Сергей Леонидович устало усмехнулся.

– Ты невыносим.

– Мне это уже говорили люди, чьему мнению я доверял гораздо больше.

Они всё-таки выпили холодный кофе. Воскресенский попросил разрешить ему самому сообщить студентам, что курса больше не будет, и получил отказ: любое его объяснение, по словам заведующего, превратят в политическое заявление.

– Это не моя проблема.

– Это станет моей.

Александр уже приготовил резкость, но остановился. В чужой трусости легко находить моральный изъян, когда риск оплачивает другой человек. Сергей имел жену, ипотеку, дочь в университете, и публичный жест стоил ему совсем не того, что шестидесятилетнему вдовцу, чья академическая карьера уже почти закончилась.

– Хорошо, – сказал Воскресенский.

– Не буду устраивать тебе героическую биографию без согласия.

Перед уходом Сергей задержал его у двери и добавил тише:

– Сегодня звонили из какого-то отдела. Спрашивали, дома ли ты обычно вечером.

- Очень содержательно.
- Саша, я серьёзно.
- Я тоже. Назвались?
- Нет.
- Тогда данных пока мало.
- Ты когда-нибудь перестанешь разговаривать как на семинаре?
- Воскресенский подумал.
- Вероятно, при выраженном когнитивном снижении.

На улице моросило. Он зашёл в магазин у дома, купил хлеб, молоко и лимоны. Лимоны не были нужны, но рука потянулась сама: дома на холодильнике уже семь лет висела маленькая записка, которую он никак не выбрасывал. «Купи лимоны. И проверь выборку, герой». Бумага выцвела, магнит с университетской конференции облупился.

Жена оставила эту записку в один из обычных дней, когда была ещё здорова настолько, что никто не считал дни особенными. После её смерти Александр сначала не трогал вещи из суеверной нежности, потом большая часть быта постепенно изменилась, а записка осталась. Не алтарь и не ежедневная рана. Просто предмет, который давно перестал требовать решения. В прихожей на стуле лежал шарф. Он машинально подумал её голосом: «Шкаф в сорока сантиметрах». «Знаю»

Марина позвонила, когда он разогревал вчерашний суп. Она говорила быстро, с тем виноватым напряжением, которое у студентов появляется перед фразой «я, наверное, задаю глупый вопрос». Вопрос был не глупый. В курсовой у неё получалось, что политическое недоверие сильнее связано с готовностью к протесту среди мужчин младше тридцати пяти, и она уже почти придумала объяснение, когда заметила, что панельная выборка в этой группе гораздо хуже удерживается между волнами.

- То есть я вижу эффект, потому что у меня вываливаются другие?
- Возможно. Сначала посмотри, кто именно вываливается. Потом решим, существует ли эффект.

Марина замолчала, затем сказала:

- Вас правда уволили?

Воскресенский налил суп в тарелку.

- Не продлили контракт. В наших краях это считается более изящной формой.

- Это же полное днище.

- Как научное описание недостаточно операционализировано, но направление мысли поддерживаю.

Она спросила о петиции. Однокурсники уже собирали подписи, кто-то предлагал написать открытое письмо. Александр не стал говорить, что бесполезно.

– Если считаешь публичную позицию правильной, подпиши. Только не подменяй выбор фантазией, будто одна подпись вернёт мне кафедру. И не говори себе «если все промолчат». Ты отвечаешь за свою подпись и за свой риск. У меня риск сейчас дешевле, чем у вас: мне шестьдесят, детей нет, карьера стала заметно проще. Это разные условия задачи.

- Вы умеете ужасно поддерживать.
- Я не поддерживаю. Я отвечаю на вопрос.

После разговора он сел за статью. Рабочее название было тяжеловесным и честным: «Информационная деградация в персонализированных политических системах». В третьем разделе ему особенно нравилась одна гипотеза: по мере концентрации власти у ближайшего круга руководителя растёт стимул фильтровать плохие новости, что затем усиливает ошибки политики. Красиво. Слишком красиво.

Он перечитал таблицу, проверил код и обнаружил, что часть зависимости почти исчезает после другого способа кодирования кризисных периодов. Несколько минут смотрел на экран

с раздражением, потом почувствовал знакомое удовольствие. Жена в таких случаях говорила: «Умный мальчик. Теперь найди вторую ошибку»

Когда они оба ещё работали в университете, она однажды уничтожила ему почти готовую статью за вечер.

– Ты опять придумал население, – сказала она, не отрываясь от таблицы.

– Я ничего не придумал.

– У тебя миграция считается остаточным методом, а потом ты используешь получившуюся оценку как независимую переменную.

– Потому что других данных нет.

– Отсутствие хороших данных не превращает плохие в хорошие.

– Спасибо, капитан очевидность.

– Не хамите специалисту, Александр Маркович.

– Вы сами хамите автору.

– Автор заслужил.

Он тогда ушёл ставить чай, вернулся через десять минут и признал:

– Ненавижу тебя.

Она даже не подняла головы. «Знаю».

– Там хуже, чем ты сказала.

– Тем более любишь.

Он действительно любил. Теперь воспоминание вызвало обычную тихую грусть, не ту острую боль первых месяцев. Александр закрыл таблицу, исправил абзац и подумал, что третий раздел всё равно пока слабее второго.

Сообщение с неизвестного номера пришло около восьми: «Просим находиться по месту регистрации. Сотрудники придут в течение часа». Больше ничего. Воскресенского раздражала не угроза, а манера, в которой приказ маскировался под просьбу. Он переслал сообщение адвокату Илье и позвонил. Тот выругался, спросил, есть ли дома лекарства, документы и заряженный телефон, велел ничего не подписывать без него и обещал быть на связи. Александр нашёл тонометр. Давление было 168 на 102. Он посидел пять минут, измерил снова и получил 176. «Плохие данные, проверяем методику»

Страх существовал вполне физиологически: сухость во рту, холод в пальцах, ускоренный пульс. Саму перспективу насилия он по-прежнему понимал плохо. Не то чтобы считал людей неспособными на жестокость; профессионально он мог перечислить функции насилия, от принуждения до демонстрации статуса. Непонятной оставалась награда. Если человек уже подчинён, зачем унижать его дополнительно? Если можно добиться цели без боли, зачем боль? Воскресенский знал ответы из литературы и наблюдений, но внутренне они всегда казались описанием чужой операционной системы.

Звонок прозвучал в 20:22. Александр посмотрел на экран телефона, где Илья как раз писал короткую инструкцию, и пошёл в прихожую. На третьем шаге что-то изменилось. Не боль. Пространство вдруг стало чуть наклонным, левая нога запоздала, а кисть, которой он хотел опереться о стену, не попала туда, куда была направлена. Он успел подумать: «Инсульт». Затем попытался сказать вслух «сейчас»

Он опустился на пол почти без удара. Сознание оставалось ясным, что раздражало сильнее всего: голова прекрасно понимала происходящее и не могла заставить тело выполнить простейшую команду. Левая половина существовала где-то отдельно. Александр попытался дотянуться правой рукой до телефона, промахнулся, попробовал снова. За дверью уже говорили громче. Потом раздался металлический звук. Первой абсурдной мыслью было, что люди, пришедшие его задерживать, теперь обязаны будут вызвать скорую. Система неожиданно поменяла задачу.

Страх начал отступать вместе с ощущениями. Пришла сонливость, затем странная лёгкость. Мысли прыгали, но одна почему-то вернулась к старому разговору с женой о преемственности. Он тогда долго объяснял ей модель персонализированной системы, в которой слишком многое зависит от ответа на вопрос «кто придёт после первого лица». Она дослушала и сказала:

– Ты опять задаёшь вопрос на уровень ниже.

– Какой выше?

– Не кто будет после Николая. Почему от ответа вообще должно зависеть столько всего?

Он тогда раздражённо спорил, что это разные уровни анализа. Сейчас имя всплыло само: Николай. Николай Павлович. Потом Александр. Александр Николаевич. История сложила знакомую пару, и Воскресенский почти успел усмехнуться: какая интересная параллель вырисовывается. Следующей ясной мысли уже не было.

Часть первая

Глава 1

18 октября 1830 года

Сегодня мне было гораздо лучше. Доктор сказал Маман, что опасность, кажется, миновала, если я буду лежать смирно и слушаться. Маман почти всё утро была возле меня. Она очень бледна и всё берёт меня за руку, будто хочет удостовериться, что я действительно проснулся. Я почти ничего не помню о последних днях. Иногда мне кажется, что я помню свет от свечей, дождь и чей-то голос, но потом уже не уверен, было ли это вправду.

Папа пришёл после обеда. Он велел мне не торопиться вставать и сказал, что с нас довольно подвигов. Он шутил, но выглядел усталым. Карл Карлович говорит, что вчера я ещё почти всё время спал, а сегодня уже могу разговаривать и потому надо благодарить Бога и доктора и не мешать им обоим своим упрямством.

Василий Андреевич заходил вечером и рассказал, что Мэри дважды просилась ко мне, но её не пустили. Я сказал ему, что это несправедливо, потому что мне скучно, а Мэри, наверное, ещё скучнее ждать. Он обещал поговорить с доктором.

Я быстро устаю. Всё кажется знакомым, хотя многое я не могу вспомнить как следует. Наверное, после болезни это пройдёт.

Первым вернулся холод. Что-то мокрое лежало на лбу, потом исчезло, и на несколько секунд мне стало легче, но почти сразу ткань вернулась, перевернутая другой стороной, холодная и тяжёлая. Я чувствовал её очень отчётливо. Менее отчётливо существовало всё остальное: тупая боль за глазами, пересохшее горло, неприятный вкус во рту и слабость, от которой даже попытка пошевелиться казалась чрезмерной тратой сил. Последнее воспоминание относилось к совершенно другому месту. Я сидел на полу собственной квартиры, прислонившись к столу, и с некоторым профессиональным отстранением наблюдал, как одна половина тела перестаёт выполнять распоряжения. В дверь стучали. Потом дверь, кажется, открыли. Кто-то говорил со мной слишком громко и слишком просто, как говорят с человеком, про которого уже поняли, что обычную речь он не воспринимает. Дальше память распадалась: лицо, потолок, движение света, раздражение оттого, что я не успел исправить ошибку в статье. Мне казалось, что я тогда понял, что умираю, но теперь это воспоминание уже не выглядело особенно убедительным. Люди при инсульте понимают множество вещей неправильно. Наверное, я не умер. Это было самым простым объяснением, а потому начать следовало с него.

Я лежал неподвижно и слушал. Где-то рядом тихо звякнуло стекло. Женщина сказала несколько слов, мужчина ответил. Я не сразу заметил, что разговор идёт по-французски, потому что понимал его без перевода. Это было странно. В прежней жизни я читал по-французски медленно и с помощью словаря, а говорил только тогда, когда альтернативой было остаться голодным или потеряться. Сейчас незнакомая женщина сказала, что вода снова слишком тёплая, и мысль вошла в сознание непосредственно, без привычного промежуточного преобразования слов в русский. Я решил пока не делать из этого ничего. При поражении мозга возможны довольно причудливые эффекты. Я не невролог и не имел даже приблизительного представления о том, что именно способен выдать повреждённый мозг в пограничном состоянии. Возможно, мне снится. Возможно, я в коме. Возможно, это постинсультный бред. В сравнении с остальными объяснениями эти три выглядели почти консервативно.

Я попробовал открыть глаза. Свет оказался слабым, но голова немедленно отозвалась болью, и я снова зажмурился. Следующую попытку предпринял осторожнее. Сначала увидел

только высокий потолок и край тяжёлой занавеси, потом женщину, сидевшую рядом с постелью. Она заметила движение и тихо спросила по-французски:

– Саша?

Голос был низковатым, мягким, сейчас заметно сорванным усталостью. Я посмотрел на её лицо и на несколько секунд забыл о необходимости что-либо проверять. Я её знал. Не мог назвать, не мог вспомнить, где видел, не мог извлечь из памяти ни одного разговора, но знал совершенно определённо: если она чуть наклонит голову влево, выбьется светлая прядь возле уха; руки у неё почти всегда прохладные; когда она старается не плакать, сначала меняется рот, а уже потом глаза. Прядь действительно выбилась. От этого мне стало страшно. Женщина придвинулась ближе и взяла мою руку, и я только теперь заметил, что рука маленькая. Её пальцы почти полностью охватывали мою кисть, тонкую, детскую, с прозрачной кожей над синими жилками.

Я смотрел на неё, не понимая, что именно должен чувствовать, и вдруг почувствовал. Не логически, не через узнавание, вообще без участия мысли. Сильнейшее облегчение, доверие, нежность. Мне хотелось, чтобы она не уходила.

– Маман, – сказал я.

Слово вышло само. Женщина закрыла глаза и прижала мою руку к губам.

– Слава Богу.

Я услышал собственный голос уже после того, как произнёс слово. Голос был детский: болезненно хриплый, слабый, но высокий настолько, что ошибки быть не могло. Я попытался поднять свободную руку и посмотрел на неё. Тоже детская. Не исхудавшая старческая, не искажённая восприятием из-за инсульта, а нормальная рука ребёнка. В животе стало холодно.

– Не надо, мой дорогой. Лежи, – сказала женщина.

Рядом появился мужчина, которого я прежде только слышал. Он коснулся моего запястья, потом лба, спросил, больно ли смотреть на свет. Я ответил, что больно. Говорить было трудно, но не потому, что я не мог подобрать французские слова. Они приходили сами.

Я попросил пить. Мне поднесли стакан. Вода была тёплая, с металлическим привкусом, и я сделал всего несколько глотков. Они ощущались слишком подробно: холоднее на губах, теплее в горле, неприятное сокращение пустого желудка. Я отметил это почти автоматически, потом сам же отверг как доказательство. Во сне бывают вкус и боль. В галлюцинации, надо полагать, тоже. Мужчина сказал женщине:

– Довольно, ваше величество. Его высочество ещё очень слаб.

Она кивнула. «Ваше величество». «Его высочество». Вот это уже было занято. Я не удивился в том смысле, в каком люди удивляются неожиданной новости. Просто добавил два новых элемента к картине, которая пока не складывалась ни во что приемлемое. Я спросил, как долго болен. Мужчина ответил, что сегодня восьмой день, последние трое суток были особенно тяжёлыми, но теперь всё гораздо лучше. Женщина снова сжала мою руку.

– Ты нас очень напугал, Саша.

Я попытался вспомнить восемь дней и не смог. Где-то на самой границе памяти существовали жар, свет, голоса. Неясно было, являются ли они остатками чужого опыта или мозг сейчас услужливо создаёт подходящее прошлое. Когда я признался, что почти ничего не помню, на лице женщины появился испуг, но врач отнёсся к этому спокойно: после такой горячки, сказал он, память вполне может путаться и сейчас не следует её тревожить. Я не спорил. Это было удобно и одновременно, возможно, правдой.

Она продолжала гладить меня по волосам. Я закрыл глаза и стал прислушиваться к ощущениям: маленькая голова на большой подушке, лёгкое тело, которому простыня казалась тяжелее привычного, совершенно другое расстояние от плеча до кисти. Я попробовал коснуться собственного лица и нащупал щёку, подбородок, нос. Лицо тоже было маленьким. Почему-то именно нос сделал происходящее особенно неприятным. До сих пор всё можно

было назвать картиной, сном, набором ощущений, но пальцы ощупывали чужое лицо изнутри этого чужого лица. Я не помнил, как уснул.

Во второй раз я пришёл в себя уже в темноте. Та же комната встретила меня настолько точно, что я некоторое время просто смотрел на складку балдахина, которую успел заметить днём. Она никуда не делась. В кресле у постели сидел мужчина в военном мундире и читал при слабом свете. Сон с продолжением был возможен, конечно. Я не знал ни одного закона, запрещающего сну иметь продолжение, и всё происходящее вообще находилось в области, где мои представления о вероятности стоили немного. Мужчина заметил, что я проснулся, и отложил книгу.

– Ваше высочество, как вы себя чувствуете?

Я посмотрел на него. Лицо вызвало то же странное ощущение, что лицо женщины утром: знакомое не через воспоминание, а через более глубокую систему распознавания. Имя пришло почти сразу.

– Карл Карлович?

В его лице появилось настоящее удовольствие.

– Наконец-то. Да, это я.

Я знал, что могу ему доверять. Откуда взялось это знание, было уже гораздо интереснее.

Я спросил, давно ли он здесь. Мердер улыбнулся:

– Сегодня с вечера. А вообще, боюсь, ваше высочество, от меня вы так легко не отделались. Почти каждый день последние годы.

Фраза вызвала короткое движение памяти: мужчина на лошади, запах кожи, громкий голос на открытом воздухе, ощущение досады из-за какого-то замечания. Всё исчезло так быстро, что я не успел рассмотреть. Карл Карлович. Фамилия вертелась рядом.

– Мердер, – сказал я скорее себе.

– Кто же ещё?

И тогда внутри что-то сдвинулось. Карл Карлович Мердер. Я когда-то читал про воспитание будущего Александра Второго. Был Жуковский. Был военный воспитатель Мердер. Наследник престола. Николай Первый. Я остановил себя. Это мог быть бред именно потому, что все детали происходили из знаний, которые у меня действительно были. Мозг легко мог достать несколько фамилий и построить из них сцену.

Я спросил дату. Мердер назвал восемнадцатое октября тысяча восемьсот тридцатого года. Несколько секунд я молчал, а он, видимо решив, что разговор утомил меня, предложил воду. Я отпил и продолжил думать. Если всё вокруг соответствует заявленной реальности, на престоле Николай Первый, его старшему сыну Александру Николаевичу двенадцать лет, Мердер действительно состоит при нём воспитателем, а женщина, которую я автоматически назвал Маман, должна быть Александрой Фёдоровной. Слишком много совпадений для случайности и совершенно нормальный набор деталей для исторического бреда человека с моей памятью. Я попытался найти у гипотезы слабое место. Самый очевидный путь состоял в том, чтобы столкнуться с информацией, которой я раньше не знал. Если всё построено из моей памяти, окружающий мир должен выдать себя на неизвестных деталях. Мысль выглядела убедительно ровно до тех пор, пока я не вспомнил собственные сны. Во сне мозг совершенно спокойно создаёт книги, разговоры, города и факты, которых человек никогда не видел. Получение новой информации внутри субъективной реальности ещё ничего не доказывает. Можно проверять постоянство текста, повторяемость событий, независимые свидетельства, но если сам наблюдатель и источник возможной ошибки находятся в одной голове, эксперимент получается довольно скверный.

Разговор с Мердером неожиданно дал другую зацепку. Я спросил о Мэри, и имя мгновенно вызвало отклик, вовсе не похожий на историческое знание: девочка, сестра, любимая и временами невыносимая, быстрая речь, склонность требовать объяснений. Мердер рассказал,

что великая княжна уже дважды пыталась прорваться ко мне и сердилась на доктора, на него, немного на государыню и, вероятно, на устройство мира вообще. Я улыбнулся раньше, чем успел осознать почему.

– Значит, всё как всегда.

Он кивнул, совершенно не заметив в моих словах ничего необычного. А я заметил. «Как всегда»

Следующее утро началось не с философии, а с крайне прозаической необходимости встать. Слуги подошли помочь, и я впервые почувствовал собственный рост целиком. Пол оказался ближе, чем должен, ступни маленькие, колени худые, ночная рубашка непривычно длинная. Когда я попытался сделать первый шаг привычной взрослой длины, тело качнулось, и старший слуга удержал меня под локоть.

– Осторожнее, ваше высочество.

– Вижу.

Это было унижительно и одновременно любопытно. Через несколько шагов движение начало исправляться само, будто нервная система вспомнила раньше сознания, какой длины здесь должен быть шаг и как переносить вес. Ещё неприятнее оказалось привычное для больного ребёнка обслуживание. Я попытался отказаться:

– Я сам.

Слуга совершенно спокойно заметил, что я ещё слишком слаб, и в этом не было ни малейшей попытки лишить меня достоинства. Для него происходило обычное. Шестидесятилетняя привычка к автономии просто столкнулась с двенадцатилетней жизнью, где никто не считал помощь чем-то особенным. Я позволил сделать необходимое, внутренне раздражаясь больше на положение, чем на людей.

После умывания рядом оказалось зеркало. Я сразу отвёл взгляд и лишь через несколько секунд понял почему. Руки я уже видел, детский голос слышал, но лицо оставалось последней частью прежней схемы себя, которую происходящее ещё не отняло. Избегать зеркала было глупо. Я посмотрел. На меня смотрел болезненно бледный мальчик лет двенадцати, со светлыми спутанными волосами, тонким лицом и большими глазами. Взрослые портреты Александра Второго я знал гораздо лучше детских, но соответствие было достаточно ясным. Я поднял бровь, мальчик поднял бровь. Провёл пальцами по щеке и почувствовал странное узнавание мимики: лицо было чужим для памяти Александра Марковича и совершенно естественным для мышц, которыми я управлял. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. «Ну здравствуй, Саша»

В тот день Маман пришла утром. По-французски она спросила, правда ли, что я уже вставал, и я ответил, что немного. Она потрогала лоб, удовлетворилась температурой и рассказала о детях. Мэри посылает рисунок, Ольга просила передать поцелуй, маленькая Александра плакала, когда ей сказали, что я болен, а Костя, которому едва исполнилось три, несколько раз спрашивал у няни, почему Саша всё ещё не приходит. Имена наполнялись ощущениями раньше воспоминаний. На имени Марии появлялось тёплое ожидание разговора, на имени Ольги мягкая заботливость, на имени малыша Константина что-то почти покровительственное. Я спросил, приходил ли Папа, когда мне было совсем плохо. Маман перестала улыбаться.

– Каждый день.

– Я его видел?

– Иногда. Думаю, не узнавал. Один раз так крепко схватил его за руку, что он потом всем показывал следы и говорил, что это хороший признак.

Образ Николая Первого, гордо демонстрирующего отпечатки пальцев больного сына, не помещался в привычную историческую рамку. Я спросил, придёт ли он сегодня.

– После доклада, если ты не уснёшь раньше.

Николая я услышал раньше, чем увидел. Тяжёлые быстрые шаги в соседней комнате вызвали мгновенное телесное напряжение, но не страх. Я ещё успел удивиться этому знанию, когда дверь открылась. Он был именно таким и совсем не таким, как на портретах: высокий, прямой, в мундире, с узнаваемым профилем, но живое лицо оказалось намного подвижнее. На изображениях Николай Павлович представлял власть, порядок и императорскую функцию. В дверях он оставался государем, а увидев меня, за два шага сделался отцом.

– Ну что, Саша?

Он говорил по-русски. Я машинально попробовал приподняться, и Николай сразу поднял ладонь.

– Лежи. Не вздумай изображать передо мной здорового.

Я послушался. Он сел у постели, несколько секунд рассматривал меня, потом сказал:

– Лучше.

Я ответил, что доктор тоже так считает.

– Доктор иногда говорит разумные вещи. Особенно когда его слушают.

– Это намёк?

– Это приказ.

Я улыбнулся, и именно тогда всё окончательно стало сложнее: я знал эту улыбку в ответ, интонацию разговора, собственную готовность чуть-чуть спорить, но не переходить границу.

Николай положил ладонь мне на голову, медленно провёл по волосам и на мгновение закрыл глаза. Меня накрыло совершенно необъяснимым спокойствием. Если бы я находился в состоянии исследовательского интереса, можно было бы долго рассуждать об эмоциональной памяти, но в тот момент мне просто захотелось плакать, и я с некоторым раздражением подавил желание.

– Маман говорит, ты уже пристаёшь ко всем с вопросами, – сказал он.

Я ответил, что почти ничего не помню о последних днях.

– И хорошо. Нечего там помнить.

– Мне сказали, я всех напугал.

– Это правда.

Под глазами у него были тёмные тени. Я спросил:

– Тебя тоже?

Николай посмотрел почти удивлённо.

– Конечно.

Ответ был настолько простым, что мне стало неловко за сам вопрос.

– Я почему-то думал...

– Что?

Я не мог сказать, что Николай Первый из учебника не должен бояться смерти ребёнка.

– Не знаю.

Он хмыкнул и поправил край одеяла.

– Вот и не думай пока слишком много. У тебя для этого будет достаточно времени.

Совет оказался хорошим. Он рассказал, что занятия отменены, что Мердеру велено не подпускать ко мне книги, пока доктор не разрешит, и что Мэри уже пыталась убедить фрейлину пропустить её в комнату. Потом неожиданно замолчал и посмотрел серьёзнее.

– Саша, просто поправляйся.

Я не сразу понял, зачем он это сказал. Вероятно, всё остальное уже было сказано врачам и воспитателям: распоряжения, прогнозы, вопросы, требования. Сыну оставалась только эта просьба.

– Постараюсь.

– Не постарайся. Сделаешь.

– Хорошо.

Он поцеловал меня в лоб и ушёл так же быстро, как пришёл. После этого я долго смотрел на закрытую дверь. Даже если всё вокруг было произведением моего мозга, этот мозг совершенно определённо поместил меня в семью Николая Первого и дал эмоциональную память его сына. Я всё ещё не знал, реально ли это, но уже знал, что мне безразлично. Разница оказалась важнее, чем хотелось.

Жуковский появился к вечеру. Его имя сообщили заранее, поэтому никакого эффекта узнавания не произошло. Я успел подготовиться к встрече с Василием Андреевичем как с очередной исторической фигурой и почти сразу обнаружил, что подготовка бессмысленна: живой человек опять оказался интереснее собственной фамилии. Он сел возле постели, внимательно посмотрел и сказал:

- Я обещал вашей сестре доложить, достойны ли вы посещения. Поэтому буду строг. Я спросил, что будет, если я недостоин.
- Тогда, боюсь, Мария Николаевна всё равно придёт, только без разрешения.
- Значит, от вашего решения ничего не зависит.
- Вы опасно быстро возвращаетесь к логике.

Он рассказал про начатую до болезни книгу, процитировал строку, и следующая возникла у меня в голове сама. Жуковский удовлетворённо заметил:

- Вы помните.
- Некоторые вещи.
- Остальное вернётся. А если что-нибудь не вернётся, выучим снова. Велика беда.

Мне понравилось это отношение: никакой драмы из памяти, которая может оказаться просто знанием, требующим восстановления.

Мы поговорили недолго. Жуковский не рассматривал меня как загадку и не пытался обнаружить перемену характера. Для него перед ним находился мальчик, переживший тяжёлую горячку и постепенно возвращающийся к обычной жизни. Именно это отношение постепенно успокаивало и меня. Никто не устраивал экзамена на подлинность. Никому не требовалось объяснение невозможного, которое я сам не мог дать. Когда позднее, оставшись один, я снова задал себе вопрос «что делать с людьми», ответ впервые оказался неожиданно простым: пока ничего. Они не требовали от меня доказательств, а я не имел объяснения. Значит, можно было хотя бы не превращать каждый разговор в проверку собственной подлинности.

Поздно вечером я попросил дневник. Тетрадь принесли вместе с чернильницей и пером, хотя Мердер сразу предупредил, что писать долго не позволит. Сам факт существования дневника поразил меньше его содержания. Я открыл несколько страниц до болезни и увидел мальчика, который действительно существовал: короткие записи об уроках, прогулках, братьях и сёстрах, о том, где был Папа и что сказала Маман. Иногда собственное мнение, иногда простое перечисление событий. Никакого будущего Александра Освободителя. Обычный хорошо воспитанный двенадцатилетний ребёнок, только живущий в совершенно необычных обстоятельствах. Я читал медленно. Вот он радовался поездке, вот сердился на урок, вот писал о Мэри, вот был доволен похвалой отца. До этой минуты прежний Александр существовал как теоретическая проблема: откуда взялись мои навыки и привязанности? Теперь у проблемы появился почерк.

Я провёл пальцем по строке и подумал: куда ты делясь? Ответа не было. Возможно, мальчик умер в горячке. Возможно, не умер, а всё ещё каким-то образом является частью того, что я называю собой. Возможно, шестидесятилетняя память Воскресенского стала дополнением к его сознанию, и вопрос «кто из нас настоящий» поставлен неправильно. Второго голоса внутри не существовало, зато язык, движения, узнавание и любовь к этим людям откуда-то взялись. Разбираться придётся позже, если вообще возможно.

Я взял перо. Рука знала, как его держать.

С письмом обнаружилась ещё одна странность. Старую орфографию я знал и прежде. Читал дореволюционные издания, работал с текстами девятнадцатого века, знал, зачем в слове стоит ять, где полагается десятеричное «і» и почему твёрдый знак упрямо торчит в конце слова, хотя ничего там не обозначает. Читать всё это никогда не составляло труда. Но читать и писать оказалось не одним и тем же навыком.

Внутри головы слова по-прежнему возникали так, как я привык писать их всю взрослую жизнь. Чтобы перенести фразу на бумагу, приходилось на долю секунды задерживать её и как будто пропускать через ещё один слой: здесь «ѣ», здесь «і», здесь конечный «ъ». Иногда я успевал подумать раньше руки. Иногда наоборот: пальцы сами выводили букву, которую Александр Маркович ещё не выбрал, и только потом я понимал, что Саша написал правильно. Особенно хорошо тело помнило не правила, а само письмо. Наклон, соединения, нажим пера, расстояние между строками получались без всякого участия мысли. Мой прежний почерк был совсем другим, да и от руки в последние годы я писал настолько редко, что несколько страниц подряд уже казались упражнением. Эта маленькая рука могла писать долго, ровно и значительно красивее меня.

Получалась забавная вещь: содержание фразы приходилось придумывать заново, орфографию временами сознательно переводить на язык моего нового времени, а рука при этом знала, как всё это должно выглядеть на бумаге, лучше меня. Если я действительно останусь здесь надолго, подумал я, возможно, однажды перестану замечать лишнюю букву в конце слова. Пока же каждая такая буква напоминала, что даже собственное письмо мне теперь приходится немного переводить.

Закончив, я перечитал последние строки: «Я быстро устаю. Всё кажется знакомым, хотя многое я не могу вспомнить как следует. Наверное, после болезни это пройдёт». Слово «наверное» понравилось мне больше всего. Оно было правдой, ничего не объясняло сверх того, что я действительно знал, и оставляло будущему право оказаться любым.

Глава 2

9 ноября 1830 года

Вчера вечером у Маман было довольно много гостей. Я был представлен князю Александру Николаевичу Голицыну и потом довольно долго с ним говорил.

Он очень любезный человек и обращается со мной совершенно серьёзно, что мне сперва понравилось. Но у него есть удивительное свойство всякий предмет продолжать гораздо дальше того места, где он, по моему мнению, уже совершенно окончен. Мы начали с книг, потом незаметно дошли до воспитания, от воспитания до характера, от характера до обязанностей человека перед Богом и, кажется, могли бы таким образом дойти до устройства всей жизни, если бы нас не прервали.

Самое неудобное, что Александр Николаевич говорит вовсе не глупости. Напротив, многое из сказанного мне кажется справедливым. Поэтому нельзя даже утешаться тем, что слушаешь вздор. Просто после некоторого времени начинаешь желать, чтобы справедливая мысль наконец перестала получать новые доказательства.

Мэри потом смеялась над моим видом. Я не думаю, что выглядел так уж несчастно. Мне только очень хотелось пройтись и поговорить с кем-нибудь о чём-нибудь, что не требовало нравственного вывода.

Наверное, мне ещё надо учиться терпеливо слушать людей, особенно когда они старше меня и желают мне добра. Это, кажется, тоже часть хорошего воспитания.

Но всё-таки я теперь знаю, что человек может быть добрым, умным и почтенным и при этом ужасно утомительным.

К началу ноября я перестал каждое утро ожидать больничного потолка. Никакого решения по этому поводу я не принимал. Просто первые дни пробуждение начиналось с нескольких секунд напряжённого ожидания: сейчас зрение прояснится, вместо балдахина окажется белый потолок, где-нибудь рядом запищит аппарат, в руку будет воткнута игла, и врач сообщит, сколько времени я пробыл без сознания. Потом однажды я открыл глаза и первой мыслью было, не отменят ли из-за дождя верховую езду. Только за завтраком вспомнил, что больницы не ждал вовсе. Это показалось почти предательством собственной логики, хотя уже через минуту пришлось признать, что логика тут ни при чём. Сознание просто привыкло к тому, что каждое утро получает одно и то же продолжение вчерашнего дня. Вопрос о происходящем не исчез. Я по-прежнему не знал, умер ли Александр Маркович Воскресенский в своей квартире, лежит ли без сознания где-нибудь в реанимации или вся его шестидесятилетняя жизнь каким-то чудовищным образом является горячечным бредом двенадцатилетнего великого князя. Последняя версия нравилась меньше остальных, но я достаточно долго занимался наукой, чтобы знать цену фразе «мне не нравится это объяснение»

Жизнь двенадцатилетнего человека оказалась удивительно плотной. В моей прежней памяти детство давно сжалось в несколько десятков эпизодов, между которыми почти не существовало времени. Здесь время вернулось целиком: уроки, прогулки, переодевания, обеды, визиты, игры, обязательное чтение, совершенно необязательные разговоры и мелкие ссоры, которые для взрослого не стоили бы пяти минут, а внутри дня занимали законное место. Поначалу больше всего раздражало постоянное присутствие других людей. Нельзя было просто взять книгу и уйти неизвестно куда. Если я исчезал из одной комнаты, кто-нибудь обязательно знал, в какую перешёл; если собирался на улицу, несколько человек обсуждали, достаточно ли я одет; если слишком долго читал после болезни, появлялся Мердер и отбирал книгу с невозмутимостью человека, совершенно уверенного в своём праве распоряжаться моим временем. Однажды я всё-таки не выдержал и слишком резко отказался от помощи камердинера при одевании. Мужчина отступил, совершенно не споря, но по лицу было видно, что я его задел.

Только тогда до меня дошло, как происходящее выглядит с другой стороны. Для меня вопрос касался автономии взрослого мужчины, внезапно снова оказавшегося под чужими руками; для него двенадцатилетний мальчик, которого он много лет обслуживал и который недавно едва не умер, вдруг демонстративно сообщил, что привычная забота ему неприятна. Мы без всякого торжественного договора пришли к простому компромиссу: всё, что я мог сделать сам, делал сам, в остальном не превращал помощь в конфликт. Через несколько дней никто уже не считал это особенностью.

Гораздо меньше возражало против новой жизни тело. Оно выздоравливало быстро и с каждым днём требовало всё больше движения. В прежней жизни я никогда не любил упражнения ради упражнений. Ходить можно было ради дороги, плавать ради воды, подняться куда-нибудь ради вида, но идея несколько десятков раз подряд повторить одно движение всегда казалась скучной формой дисциплины. У двенадцатилетнего организма на этот счёт было другое мнение. Ему нравилось двигаться просто потому, что движение почти ничего не стоило. Можно было пробежать через комнату вместо того, чтобы пройти, перепрыгнуть через низкую скамью, вскочить с пола без предварительных переговоров с коленями. Это качество особенно проявлялось рядом с двумя моими совоспитанниками. Иосиф Виельгорский и Александр Паткуль жили во дворце и проходили со мной тот же курс. Первый оказался спокойнее и аккуратнее, второй заметно охотнее превращал любое свободное время в соревнование. Я знал их имена из истории гораздо хуже, чем имена Мердера и Жуковского, зато тело узнало обоих сразу. С Иосифом было легко молчать над книгой, с Паткулем трудно было десять минут провести без спора.

В первый день, когда мне разрешили после занятий остаться с ними дольше обычного, Паткуль внимательно осмотрел меня и сказал:

– Ты всё ещё ужасно тощий.

Иосиф поморщился.

– Это, по-твоему, приветствие?

– Я уже здоровался утром.

– Спасибо, – сказал я.

– Твоё наблюдение чрезвычайно полезно.

Паткуль не уловил иронии или сделал вид, что не уловил.

– Я просто говорю, что раньше ты был толще.

– Удивительно, что горячка не улучшила мне фигуру.

Иосиф рассмеялся, а Паткуль предложил проверить, насколько я действительно выздоровел, и через минуту мы уже спорили о какой-то игре, правила которой моя новая память держала кусками. Там, где я сомневался, Паткуль немедленно пытался трактовать сомнение в свою пользу.

– Так нельзя.

– Почему?

– Потому что ты только что придумал это правило.

– Нет, я его вспомнил.

– Иосиф?

Виельгорский поднял голову от книги.

– Он придумал.

– Предатель, – сказал Паткуль.

– Свидетель, – поправил Иосиф.

Я вдруг поймал себя на том, что спорю совершенно искренне, не изображая нормальную жизнь двенадцатилетнего наследника и не наблюдая собственное поведение со стороны. Это было новым. Несколько недель назад почти каждый жест проходил через внутреннюю проверку. Теперь временами я просто находился в комнате.

Семья восстанавливалась иначе, через разговоры и привычные мелочи. Мария приходила часто и с удовольствием пересказывала события, которых я не помнил, особенно если в них можно было выставить меня смешным. Она была младше меня немногим больше года, достаточно близко по возрасту, чтобы не относиться к старшему брату с почтительным расстоянием. В первый разрешённый визит она почти легла поперёк постели, чтобы рассмотреть меня получше, и спросила по-французски, что именно я видел в горячке. Я сказал, что ничего интересного.

– Совсем ничего? Мне рассказывали, что люди иногда видят ангелов.

– Мне, значит, не повезло.

Она подумала и предположила, что я просто забыл.

– Тогда ангелы очень дурно всё устроили.

Мэри сначала нахмурилась, проверяя, не смеюсь ли я над чем-нибудь священным, а потом расхохоталась и немедленно перешла к истории о том, как маленький Костя упрямо требовал пустить его ко мне и не понимал, почему взрослые всё запрещают. В разговорах с ней прежняя биография возвращалась кусками. Я не помнил самой сцены, но иногда знал концовку фразы, не помнил комнаты, но мог безошибочно сказать, где там скрипит доска, не помнил старой ссоры, но сразу слышал, какую выгодную для себя деталь Мэри пропустила. Дети и сверстники оказались лучшим способом узнать Сашу, которым я теперь был: взрослые объясняли осторожно, а они просто рассказывали.

К занятиям меня возвращали постепенно. Сначала доктор разрешил одно непродолжительное занятие в день, через несколько дней два, затем Мердер объявил, что если я ещё раз попытаюсь использовать перенесённую горячку для отмены чего-нибудь скучного, то официально сочтёт меня выздоровевшим и вернёт полный распорядок. Я назвал это врачебной угрозой. Карл Карлович сказал, что угрозы бывают полезны, если больной слишком быстро вспоминает, как отлынивать от уроков. Учебный день и без болезни был устроен серьёзно: подъём рано, занятия с перерывами до полудня, затем другие упражнения, языки, чтение, физическая подготовка. Я довольно быстро понял, почему прежний Саша иногда мечтал, чтобы урок закончился поскорее. Зато моё положение имело преимущество, которое в прошлой жизни стоило бы немалых усилий: вокруг находились образованные люди, профессиональной обязанностью которых было отвечать на мои вопросы. Жуковский переносил эту мою привычку лучше всех, но первым по-настоящему пострадал Константин Иванович Арсеньев, занимавшийся с нами географией и статистическими сведениями о России.

Перед нами лежала карта европейской части империи и таблица с краткими данными по губерниям. Иосиф отвечал аккуратно, Паткуль один раз ошибся в реке и попытался доказать, что вопрос был поставлен неясно, а я сначала занимался примерно тем же, чем занимался бы нормальный ученик: держал в голове названия, границы и цифры. Потом взгляд вернулся к численности населения. Число выглядело слишком определённо для того, что я знал о способах учёта того времени.

– Константин Иванович, откуда оно?

Арсеньев не сразу понял.

– Какое именно, ваше высочество?

– Число жителей.

– Из официальных сведений, главным образом ревизий.

Я знал, что такое ревизские сказки, но знать исторический термин и увидеть перед собой число, реально полученное этим способом, оказалось совершенно разными вещами.

– Когда была последняя ревизия?

Он назвал год. Я посмотрел в таблицу.

– Но сейчас другой год.

– Разумеется.

– Тогда это не число людей, которые живут там сейчас.

Паткуль тут же вмешался:

– Ты собираешься пересчитать их сам? – Иосиф попросил его не мешать.

Арсеньев объяснил, что население меняется, а статистические сведения всегда относятся к определённому времени. Я показал на страницу:

– Тогда почему здесь не написано, к какому?

Жуковский, присутствовавший на занятии, отложил книгу.

– Это уже обвинение составителю? – я ответил, что хочу понять.

– Это уже не география, – заметил он.

Арсеньев терпеливо объяснил, что между ревизиями существуют другие источники: метрические записи, ведомственные сведения, отчёты местных властей. Я спросил, везде ли сведения собираются одинаково.

– Для разных целей существуют разные формы.

– Тогда как их складывают?

– Не всегда требуется складывать.

– Но если Папа захочет знать, сколько в губернии людей, что ему принесут?

Жуковский улыбнулся.

– География принимает опасный оборот.

– Почему?

– Ещё четверть часа назад нам достаточно было знать, где находится губерния. Теперь мы выясняем, что именно должен получать о ней государь.

– Но это связано.

– Безусловно. Поэтому я и не останавливаю.

Арсеньев вздохнул с видом человека, которому стало ясно, что программу сегодня не спасти.

Я продолжил спрашивать. Если ребёнок родился после ревизии, в ревизии его нет, но он может быть в метрической книге. Если человек уехал, его учёт зависит от состояния и обстоятельств. Военное ведомство имеет собственные сведения о служащих. Казённые, податные, церковные учёты существуют ради разных задач и вовсе не обязаны складываться в одну красивую таблицу. Примерно на пятом вопросе Арсеньев спросил, зачем мне такая точность, ведь для общего представления о губернии достаточно понимать, где населения больше, а где меньше. Первой в голову пришла взрослая формулировка о качестве административных данных, но она была здесь совершенно лишней. Я подумал и ответил проще:

– Если Папа решит, что где-нибудь нужны школы, разве не надо знать, сколько там людей? Если считать неправильно, можно построить мало.

– Разумеется.

– Или врачи. Или хлеб, если неурожай.

Жуковский перестал улыбаться.

– Вот это хороший пример.

– Значит, надо знать.

– Надо. Вопрос только в том, насколько хорошо государство вообще способно знать подобные вещи.

Я повернулся к нему.

– А насколько?

Он рассмеялся.

– Вот теперь вы окончательно испортили географию.

Урок закончился не там, где предполагалось. Мне показали другие таблицы, объяснили общую логику ревизий и несколько видов ведомственных сведений. Чем больше объясняли, тем больше становилось вопросов. Самое интересное состояло в том, что прежнее знание о

«плохой статистике империи» вдруг оказалось почти бесполезным. Из будущего легко произвести оценку. Изнутри нужно было выяснить, что именно собирают, зачем, кто получает данные, какие определения использует и где между губернией и Петербургом число меняет смысл. После занятий я нашёл чистую тетрадь и записал: «Как узнают число жителей между ревизиями? Кто получает губернские отчёты? Одинаково ли они составлены? Что происходит, если два сведения не совпадают?»

Мысль о времени раньше приносила тревогу. Мне двенадцать. Я знал, что исторический Александр Николаевич станет императором только в 1855 году. Если события вообще сохраняют прежний ход, впереди почти четверть века до престола. В первые дни такая перспектива казалась чудовищной: двадцать с лишним лет в чужом времени прежде, чем наступит хотя бы знакомый по учебникам период. Теперь смысл перевернулся. Четверть века означала, что можно не торопиться. Мне ничего не требовалось исправлять завтра утром, да я почти ничего серьёзного сейчас и не мог сделать. Можно было сначала понять окружающий мир. В прежней жизни я видел достаточно реформ, придуманных людьми, которые начинали с красивого решения и только потом знакомились с устройством проблемы. Повторять этот порядок не хотелось. В тот же вечер пришлось поймать себя на ещё одном удобном допущении: сама фраза «сначала понять, потом улучшать» уже предполагала, будто я обязан что-то улучшать. Почему? Потому что знаю один вариант будущего? Знание не создаёт автоматически обязанности. Потому что когда-нибудь стану императором? Вот это основание выглядело серьёзнее. Если мне действительно достанется власть, от решений которой зависят миллионы людей, сознательно не интересоваться качеством этих решений будет трудно оправдать. Но никакого договора, обязывающего двенадцатилетнего мальчика немедленно становиться спасителем России, я не подписывал. Слово «спаситель» мне не понравилось. Оно слишком легко превращало страну в декорацию для собственной правильности. Лучше было начать с вещи попроще: понять, чему вообще должен научиться человек, которому однажды достанется такая власть.

На следующий день после занятий мы с Мердером шли по галерее. За окнами лежал мокрый первый снег, прогулку на улице сократили, и Карл Карлович рассказывал о возвращении полного распорядка. Я слушал вполуха, потому что с утра вертелся другой вопрос.

– Карл Карлович, чему вообще должен научиться наследник?

Он повернул голову.

– Вот сейчас я несколько встревожен.

– Почему?

– Потому что если вы решили экзаменовать своих воспитателей, мне следовало заранее подготовиться.

– Я серьёзно. История, языки, математика, география понятны. Но это учат не только наследники. А быть государем где учат?

Мердер несколько шагов шёл молча.

– Нигде, если вы спрашиваете о школе, после которой человеку выдают свидетельство о способности управлять империей.

– Жаль.

– Почему?

– Было бы удобно узнать, выдержал ли Папа такой экзамен.

Он остановился и посмотрел на меня, решая, стоит ли смеяться.

– Обязательно передам государю.

– Не надо.

– Поздно.

Я объяснил, что спрашиваю о настоящем деле: вот приносят государю бумагу, спор, проект, проблему, и надо решить. Что должен знать человек, чтобы решить правильно?

– Всё знать невозможно, – сказал Мердер.

– Это я понимаю.

– Уже успех. Для начала надо понять само дело и не торопиться считать его простым.

Ответ мне понравился настолько, что я замедлил шаг.

– А дальше?

– Выслушать людей, которые знают предмет лучше вас.

– Одного?

– Лучше нескольких.

– Несколько тоже могут ошибаться.

– Могут.

– Тогда что делать?

Мердер посмотрел на меня.

– Думать, Александр Николаевич. Смотреть бумаги, сравнивать, понимать, чего каждый хочет и почему говорит именно это. Потом принимать решение.

– А если ошибся?

– Исправить.

– Если уже нельзя?

Он ответил не сразу:

– Тогда помнить.

Серьёзность этой фразы мне не понравилась.

– Чтобы в следующий раз не ошибиться?

– Хотя бы затем, чтобы потом не рассказывать себе, будто ошибки не было.

Мы прошли ещё несколько шагов. История почти не оставила в моей прежней памяти Карла Мердера как отдельного человека: хороший воспитатель будущего царя, несколько строк, ранняя смерть. Здесь эти несколько строк ежедневно разговаривали со мной и иногда сообщали вещи, которые хотелось помнить десятилетиями.

Возвышенное настроение Мердер испортил почти сразу, потребовав надеть шарф. Я возразил, что мне не холодно. Он сообщил, что шарф государственный.

– Почему?

– Потому что если вы снова заболите, государю придётся отвлекаться на вас от государственных дел.

Аргумент был настолько нагло сконструирован специально под наш разговор, что я рассмеялся и подчинился. Подобные моменты особенно помогали привыкнуть к новой жизни. Ничто не оставалось высоким и символическим дольше нескольких минут. Можно рассуждать об ответственности государя, а потом взрослый человек всё равно затянет тебе шарф и проследит, чтобы ты не снял его за углом.

Через несколько дней врач наконец разрешил вернуться к верховой езде. Этого я ждал с некоторым опасением. В прежней жизни несколько раз сидел верхом на туристических лошадях, настолько опытных в обращении с дилетантами, что человек был почти необязательной частью системы. Здесь все исходило из того, что я умею ездить хорошо. Когда подвели лошадь, впервые за несколько дней очень ясно почувствовалось расщепление двух опытов: Александр Маркович понятия не имел, что делать без инструктора, а тело Саши считало ситуацию обычной.

– Не спешите. Сегодня только шагом, – сказал Мердер.

– Я помню.

– Я тоже. Поэтому повторяю.

Нога сама нашла стремя, руки сделали нужное, посадка оказалась естественной. Первые минуты взрослое сознание пыталось контролировать каждое движение и только мешало, потом я перестал вмешиваться. Воздух был холодный, по краям луж уже схватывался лёд, лошадь

дышала паром. Я чувствовал её движение под собой и неожиданно испытывал чистое удовольствие, никак не связанное ни с историей, ни с чудом собственного положения. Я пустил её чуть быстрее.

– Шагом, – немедленно сказал Карл Карлович.

– Она сама.

– Разумеется. Ещё немного, и сама вернётся во дворец, а вы будете совершенно ни при чём.

На обратном пути я заметил, что почти полчаса не вспоминал ни insult, ни 2026 год, ни вопрос о том, настоящий ли мир вокруг. Осознание не испортило настроения. Скорее наоборот. Впервые стало понятно, что жить здесь можно не только в режиме ожидания ответа. Вечером мы с Виельгорским и Паткулем опять спорили об игре; Паткуль жульничал, Иосиф исполнял роль свидетеля обвинения, а я совершенно всерьёз добивался пересмотра хода. Перед сном поймал себя на простой мысли: день был хорошим. Не «терпимым с учётом обстоятельств», не «полезным для наблюдения», а хорошим. Первые недели всё здесь имело приставку «это»: это время, эта семья, эта жизнь. В тот день приставка впервые не понадобилась.

К вопросу о населении я вернулся сам. Доступные книги действительно давали разные цифры. Где-то причина была очевидна: разные годы, разные категории, округление. Где-то происхождение числа оставалось неясным. Это вовсе не означало, что государство ничего не знает о жителях. Империя собирала массу сведений именно потому, что без них невозможно собирать налоги, проводить рекрутские наборы, учитывать имущества и выполнять десятки других задач. Меня заинтересовало не наличие данных, а возможность собрать из множества ведомственных учётов одно представление о происходящем. Возможность спросить об этом Папа появилась вечером, когда он зашёл после дел и поинтересовался, как идут занятия. Я рассказал про урок Арсеньева. Николай усмехнулся:

– И зачем тебе понадобилось знать точное число жителей?

– Сначала для географии. Потом стало интересно, почему в разных книгах оно разное.

– Книги бывают разных лет.

– Знаю. А государство знает точнее?

– Государство располагает более подробными сведениями, чем твоя учебная книга.

– Какими?

Он начал перечислять: ревизии, губернаторские отчёты, сведения министерств. Я спросил, совпадают ли числа.

– Должны.

– А если нет?

Николай посмотрел на меня.

– Тогда выясняют причину.

Разговор мог закончиться здесь, но вопрос уже зацепился. Я спросил, что происходит, если губернатор ошибся.

– Его поправят.

– Как узнают?

– Сведения сравнивают, бывают ревизии, жалобы, донесения других должностных лиц.

Наконец, хороший губернатор отвечает за то, чтобы государь получал правду.

– А плохой?

– Плохого надо менять.

– Но сначала надо узнать, что он плохой.

Папа посмотрел внимательнее.

– Разумеется.

Я помолчал, пытаюсь сформулировать то, что в прежней жизни сказал бы совершенно другим языком.

– Получается, сначала надо понять, насколько можно верить тому, от кого узнаёшь.

Николай кивнул.

– Да.

– А как?

На этот раз он не ответил сразу. Затем сказал:

– Вот это, Саша, уже настоящий вопрос.

– Какой бывает ненастоящий?

– Такой, который задают, чтобы показать собственный ум. Настоящий задают потому, что нужен ответ.

Мне понравилась не похвала, а различие. Николай добавил, что, когда Мердер и Жуковский окончательно перестанут считать меня больным, можно будет показать мне подходящий настоящий отчёт.

– Настоящий? – переспросил я.

– Нет, специально сочинённый, чтобы тебя обмануть.

Я посмотрел на него.

– Это было издевательство.

– Быстро восстанавливаешься.

После его ухода я ещё долго прокручивал разговор. В прежней жизни сама мысль была банальной: руководитель крупной системы существует внутри информационного контура и почти никогда не наблюдает объект управления непосредственно. Качество решений зависит от каналов, отбора, стимулов отправителя, проверки и способности плохих новостей доходить наверх. Я говорил это студентам десятки раз. Здесь мысль стала неприятно конкретной. Человек, который только что сидел напротив и шутил надо мной, действительно получает отчёты от огромной страны и принимает на их основании решения. Если всё пойдёт хотя бы приблизительно знакомым путём, когда-нибудь похожие бумаги будут приносить мне. Несколько недель назад вопрос «что мне делать в этой жизни?» был слишком большим и почти бесполезным. Теперь у него появился хотя бы первый рабочий кусок ответа: научиться понимать, на основании чего государь вообще считает что-нибудь правдой.

На следующий день в тетради появился новый пункт: «Как государь узнаёт, что полученные сведения верны?»

Глава 3

23 декабря 1830 года

До Рождества осталось два дня, и Маман опять запретила нам заходить в несколько комнат, потому что там готовят ёлки и подарки. Паткуль утверждает, что запрет существует именно затем, чтобы хотелось подсмотреть. Иосиф говорит, что можно просто не ходить. Я думаю, он в этом отношении устроен неправильно. Если человеку сказали, что за дверью находится тайна, совершенно естественно захотеть узнать какая.

Маман сказала вчера, что после болезни я сделался старше. Я ответил, что мне всё ещё двенадцать лет, но она сказала, что возраст не всегда считают годами. Карл Карлович заметил, что если бы всякое взросление требовало восьми дней горячки, человечество давно бы исчезло, и велел не слишком гордиться достигнутым. Мэри говорит проще: я стал больше думать и иногда от этого делаюсь скучным. Это несправедливо, потому что вчера мы с Паткулем чуть не сломали стул и Василий Андреевич совсем не счёл это признаком чрезмерной серьёзности.

Мне самому кажется, что я действительно стал внимательнее. Раньше очень многие вещи существовали для меня просто потому, что всегда существовали. Теперь мне чаще хочется знать, почему они именно такие. Иногда оказывается, что ответ есть. Иногда взрослые говорят: «Так принято». Мне всё больше кажется, что это не ответ, а название вопроса.

К двадцать третьему декабря Зимний дворец начал пахнуть хвоей. Запах возник неожиданно, сначала в одном коридоре, затем в другом, хотя сами деревья большую часть времени оставались спрятаны от детей и тех взрослых, для которых Маман считала необходимым сохранить праздничный сюрприз. В прежней жизни я воспринимал ёлку как один из наиболее банальных предметов зимы: в конце декабря она появлялась в магазинах, учреждениях, чужих окнах и рекламе с такой неизбежностью, что переставала быть деревом и превращалась в сезонный знак. Здесь всё было иначе. Для Маман это оставалось семейной традицией, которую она любила слишком искренне, чтобы считать обязательной декорацией. Она сама выбирала, кому что подарить, проверяла приготовления и каким-то образом превращала огромный дворец в место, где несколько комнат действительно могли быть закрыты потому, что мать готовит детям праздник. Ещё непривычнее оказалось то, что Рождество и Новый год здесь не поменялись местами. Моё прежнее сознание автоматически ожидало, что главный взрыв подарков, еды и семейной суеты придётся на последнее число декабря, а Рождество останется либо церковным праздником, либо ещё одним выходным. В доме Николая Павловича главным семейным событием было Рождество, со службой, ёлками, подарками и привычными церемониями; первое января существовало рядом, с поздравлениями, двором, обязанностями и визитами, но не претендовало на роль мистической границы между двумя жизнями. Несколько раз я ловил себя на том, что жду разговоров о наступающем 1831 году, а окружающие гораздо больше интересуются тем, удалось ли скрыть подарки от Мэри.

Скрывать от Мэри что-либо было трудно. В одно утро она появилась на нашей половине до окончания занятия и, не обращая внимания на Арсеньева, который как раз пытался заставить Паткуля найти на карте уездный город, прошептала мне достаточно громко:

- Я знаю, где моя ёлка. – Паткуль мгновенно потерял интерес к географии.
- Где?
- Тебе не скажу.
- Тогда ты ничего не знаешь. – Мэри посмотрела на него с презрением.
- Какая связь?
- Если знаешь, можешь доказать.
- Почему я должна тебе что-нибудь доказывать?

Иосиф тихо сказал, не поднимая головы от карты:

– Не должна. Но теперь он не отстанет. – Константин Иванович снял очки.

– Великая княжна, я правильно понимаю, что вы прибыли для того, чтобы окончательно уничтожить занятие, которое ваши братья по воспитанию до вас только повредили?

– Я только на минуту.

– Это всегда самые опасные минуты. – Мэри подошла ко мне и наклонилась к уху.

– В комнате рядом с кабинетом Маман. Я видела, как туда внесли дерево.

– Одно дерево ничего не доказывает. – Она отстранилась и посмотрела подозрительно.

– Ты теперь всегда так разговариваешь?

– Как?

– Как Василий Андреевич.

Паткуль немедленно вмешался:

– Нет, хуже. Василий Андреевич иногда отвечает.

– Я всегда отвечаю.

– Ты отвечаешь вопросом.

– Это тоже ответ.

– Нет.

– Почему? – Паткуль торжествующе повернулся к остальным.

– Вот! – Арсеньев постучал карандашом по столу.

– Я начинаю понимать Карла Карловича. Ещё месяц назад главным препятствием для образования наследника была его склонность отвлекаться. Теперь главным препятствием является его нежелание прекращать разговор после того, как он отвлёкся. – Мэри засмеялась.

– Значит, я права. Он стал ужасно серьёзный.

– Неправда, – сказал я. – Вчера я бросил в Паткуля подушкой.

– Сначала ты пятнадцать минут доказывал, что он неправильно считает очки, – напомнил Иосиф.

– Это не отменяет подушку. – Арсеньев вздохнул.

– Полагаю, государство может быть спокойно. Его будущий глава всё ещё способен к необходимому легкомыслию. Теперь, может быть, вернёмся к карте?

Мэри ушла, пообещав после обеда сообщить новые сведения о ёлках. Арсеньев вернул Паткуля к уездному городу, а я ещё некоторое время думал о том, как естественно окружающие приняли мою перемену. Они действительно её заметили. Было бы странно, если бы не заметили: я стал больше заниматься, меньше пытался отделаться от скучного предмета, чаще спрашивал и иногда возвращался на следующий день к разговору, который прежде наверняка забыл бы к ужину. Но ни одному человеку не пришло в голову искать в этом тайну. Саша тяжело переболел, едва не умер, после болезни стал серьёзнее. Именно так всё и выглядело изнутри обычной человеческой биографии, и, более того, взрослым это нравилось. Жуковский однажды сказал Мердеру при мне, что болезнь, при всей своей жестокости, «будто раскрыла в нём какую-то дверцу, которую прежде приходилось толкать снаружи». Мердер ответил, что предпочёл бы в будущем пользоваться менее опасными педагогическими средствами. Папа, узнав от них, что я стал охотнее заниматься, сперва спросил, не завывают ли они достижения больного из жалости, потом несколько дней наблюдал сам и вечером за ужином сказал:

– Так, значит, правда.

– Что?

– Карл Карлович уверяет, что теперь тебя приходится отрывать от вопросов.

– Иногда.

– Раньше тебя приходилось возвращать к ним.

– Я был моложе. – Папа посмотрел на меня несколько секунд, затем рассмеялся.

– Невероятно. Человек, которому двенадцать с половиной лет, презирает себя в двенадцать лет и четыре месяца.

Маман сказала по-французски:

– Не смейся. Он действительно изменился.

– Я вижу.

В её голосе не было тревоги. Она смотрела на меня тем особенным материнским взглядом, в котором удовольствие от ребёнка почти невозможно отличить от желания немедленно поправить ему воротник. Папа тоже выглядел довольным, хотя сделал всё возможное, чтобы похвала не превратилась в торжественную церемонию.

– Главное, Саша, не реши теперь, что серьёзность состоит в том, чтобы всё время иметь серьёзное лицо. Из этого получаются самые невыносимые люди.

– Я знаю нескольких.

– В двенадцать лет? – Я успел остановиться.

– В книгах.

– Это безопасный ответ.

Мэри, сидевшая рядом с Маман, вмешалась:

– Он правда стал скучнее.

– Неправда.

– Вчера я рассказывала тебе про платье, а ты спросил, сколько человек его шило. – За столом засмеялись. Я почувствовал, что краснею.

– Мне стало интересно.

– Именно это я и говорю.

– А сколько? – спросил Папа. – Мэри замолчала.

– Не знаю.

– Вот видишь, – сказал я.

– Что вижу?

– Теперь тебе тоже интересно. – Папа поднял палец.

– Осторожно, Мари. Ещё немного, и он заставит тебя изучать производство платьев.

– Тогда я больше ничего ему не расскажу.

Разговор ушёл в другую сторону, но мне ещё долго было приятно оттого, что новая серьёзность никому не казалась болезнью. Она просто стала ещё одной чертой Саши. Возможно, через год никто уже не будет помнить, каким именно я был до горячки, кроме людей, которые знали меня особенно близко. Человеческая память удивительно быстро редактирует характер задним числом: нынешний человек становится естественным продолжением прежнего, а противоречия объясняются возрастом, обстоятельствами и тем, что «он всегда был к этому склонен». В прежней профессии подобные реконструкции чужой биографии были привычным материалом. Теперь я наблюдал такую реконструкцию изнутри и впервые находил её чрезвычайно удобной.

После занятий мы с Иосифом и Паткулем получили несколько часов почти полной свободы, то есть свободы в том смысле, который существовал у двенадцатилетних детей императорского дома: никто не заставлял нас учиться, но по крайней мере двое взрослых знали, где мы находимся, ещё один периодически проходил рядом, а выйти за пределы назначенных помещений без сопровождения всё равно было невозможно. Паткуль предложил идти смотреть, действительно ли Мэри обнаружила ёлку. Иосиф отказался, потому что решил не подглядывать. Я спросил, почему.

– Потому что потом будет неинтересно.

– Если посмотреть сейчас, интересно будет сейчас, – возразил Паткуль.

– А на Рождество?

– На Рождество будут подарки.

– В этом есть своя система, – признал я.

– Не поощряй его, – попросил Иосиф.

Мы всё-таки не пошли. Через четверть часа Паткуль забыл про ёлку, потому что нашёл другую задачу: на одном из столов лежал небольшой свёрток, предназначенный для передачи кому-то из придворных, и его совершенно не интересовало содержимое до тех пор, пока слуга не попросил не трогать. После этого интерес стал почти болезненным.

– Даже не думай, – сказал Иосиф.

– Я только посмотрю.

– Как?

– На свёрток.

– Ты уже смотришь.

– Ближе.

– Это подарок не тебе. – Паткуль повернулся ко мне.

– Саша?

– Что?

– Ты наследник. Можешь приказать открыть.

– Могу приказать ещё принести тебе розог. – Он отдёргнул руку.

– За это не секут. – Фраза прозвучала настолько буднично, что сначала я почти не обратил внимания.

– За что секут? – Паткуль пожал плечами.

– Смотря кого.

– В каком смысле? – Иосиф уже отложил книгу. Паткуль задумался.

– Ну, мальчишку могут высечь, если украл. Или убежал. У нас прошлым летом одного высекли. – Он говорил без удовольствия. В голосе не было ни жестокости, ни желания похвастаться властью. Просто сообщил факт из той же категории, что плохая погода или сломанная ось.

– За что?

– Деньги взял.

– Чьи?

– Не помню. Управителя, кажется.

– И сколько ему было? – Паткуль задумался.

– Лет пятнадцать.

– А если бы деньги взял ты? – Он рассмеялся.

– Меня бы Папа убил.

– Не буквально.

– Надеюсь.

– Но тебя бы не секли? – Теперь он начал смотреть на меня как на человека, который почему-то требует уточнить очевидное.

– Конечно нет.

– Почему?

– Потому что я дворянин. Саша, ты правда этого не знаешь? – Я знал. И исторически, и каким-то слоем памяти этого тела. Ничего нового Паткуль мне не сообщил. Новым оказалось другое: для него в самой конструкции не было даже вопроса.

– Знаю, – сказал я. – Просто подумал.

Паткуль пожал плечами и, решив, что странная тема закончилась, снова потянулся к свёртку. Иосиф остановил его, а я больше не участвовал в споре. До этого момента различие между веками чаще всего проявлялось через вещи, знания и бытовые навыки. Нет электричества, антибиотиков, современной санитарии; медленнее передаётся информация; люди иначе представляют экономику, медицину, общество. Такое различие было простым. Их мир обла-

дал меньшим объёмом накопленного знания, но это не делало людей глупее. Стоило провести несколько недель с Жуковским, Мердером, Арсеньевым или Папой, чтобы всякая соблазнительная мысль о превосходстве современного человека над «примитивными предками» стала выглядеть особенно нелепо. С этикой было сложнее.

Паткуль не был жестоким мальчиком. Я уже это знал. Он мог поделиться последним пирожным, болезненно переживал, если по его вине страдала лошадь, и однажды полчаса возился с подбитой птицей, хотя до этого уверял, что ему совершенно всё равно. В рассказе о высеченном пятнадцатилетнем мальчишке не было садистского удовольствия. Он, скорее всего, действительно пожалел бы его, увидев наказание, и при этом совершенно не усомнился бы в праве взрослых наказывать именно так. Эта комбинация была значительно интереснее простого слова «варвары». В двадцать первом веке мне множество раз приходилось слышать объяснение, будто наши нравственные нормы лучше потому, что мы «стали гуманнее». Иногда это было правдой на уровне результата, но почти ничего не объясняло на уровне механизма. Люди прошлого рождались не с меньшим количеством эмпатии в мозгу. Матери любили детей, друзья переживали за друзей, чужая боль могла вызывать жалость. И всё-таки добрый человек мог считать нормальным телесное наказание слуги, порядочный хозяин мог владеть крепостными, любящий отец мог выбирать будущее дочери, почти не спрашивая, чего она сама захочет через десять лет. Значит, дело было не только в способности жалеть. Этическая норма определяла, в каких случаях жалость должна изменить поступок, а в каких уступает порядку, статусу, долгу, собственности, власти отца, праву хозяина или просто тому, что «иначе нельзя». Она проводила границы между теми видами страдания, которые считались несправедливостью, и теми, которые воспринимались как неприятная, но естественная часть правильного устройства мира.

Мне вспомнилась одна совершенно приличная женщина из прежней жизни, которая могла часами говорить о доброте, искренне помогать незнакомым людям и одновременно считать некоторые группы населения чем-то вроде неисправного материала, который государству следует хорошенько дисциплинировать. Вспомнились люди, ужасавшиеся насилию в одном контексте и требовавшие его в другом, потому что второе называлось уже не насилием, а порядком, безопасностью или заслуженным наказанием. Ничего специфически девятнадцативекового в способности менять моральную оценку вместе с названием ситуации не существовало. И тут мысль стала менее удобной: если норма так сильно зависит от среды, откуда я знаю, что мои собственные моральные интуиции являются последней точкой развития, а не просто ещё одним историческим набором очевидностей? Никак. Вероятно, люди через двести лет тоже будут смотреть на какие-нибудь совершенно обычные для моего времени вещи и спрашивать, как приличный человек мог это терпеть. Если бы мне заранее сказали, что именно они выберут, я вполне мог бы начать защищаться, объяснять контекст, экономическую необходимость, сложность перехода и невозможность судить прошлое мерками будущего. Последняя фраза особенно часто использовалась не для понимания прошлого, а чтобы вообще не обсуждать его. Но и обратная ошибка была слишком простой: прийти из будущего, увидеть чужую норму и решить, что оказался среди нравственно неполноценных людей. Нет. Эти люди были людьми. Именно поэтому было интереснее понять, как возникает «само собой». За обедом я спросил Мердера, насколько часто телесно наказывают детей.

- Каких детей? – сразу спросил он. – Я едва не улыбнулся.
 - Вот. Даже вы первым делом спрашиваете каких.
 - Потому что вопрос слишком широк. Вас, например, не секут.
 - Я заметил.
 - И весьма этим довольны, надеюсь.
 - А Паткуля?
- Паткуль, сидевший неподалёку, возмущился:
- Почему сразу меня?

- Для науки.
- Запрещаю. – Мердер усмехнулся.
- Александр Владимирович может быть спокоен. Я не собираюсь обсуждать его воспитание за обедом.
- А если мальчик из прислуги украл?
- Тогда наказание зависит от обстоятельств, его возраста и того, кто за него отвечает.
- Его могут высечь. – Мердер несколько секунд смотрел на меня.
- Могут.
- Это считается нормальным?
- В каком смысле? – Я поискал формулировку.
- Хороший человек может приказать высечь другого человека и не считать, что поступил жестоко? – Карл Карлович положил приборы. Паткуль с Иосифом мгновенно перестали изображать отсутствие интереса.
- Может, – сказал он. – Как хороший отец может наказать сына.
- Но Папа меня не сечёт.
- Значит ли это, что всякий отец, который когда-либо розгой наказывал сына, непременно злой человек?
- Нет.
- Тогда вы уже сами ответили.
- Не совсем. – Мердер посмотрел внимательнее.
- Что именно вас беспокоит? – Я подумал о пятнадцатилетнем мальчишке в чужом поместье и не стал ссылаться на Паткуля.
- Почему для одного человека такое наказание считается допустимым, а для другого унижительным уже само по себе?
- Потому что люди занимают разное положение.
- Я понимаю, что занимают. Я не понимаю, почему из этого следует, что их можно по-разному бить. – Паткуль поперхнулся водой. Иосиф опустил глаза, но по лицу было видно, что ему хочется рассмеяться. Мердер не рассмеялся.
- Из самого положения это не следует, – сказал он после паузы. – Следует из установлений, обычаев и обязанностей.
- Но обычай не делает вещь правильной.
- Не делает. – Ответ оказался лучше, чем я ожидал.
- Тогда как узнать, правильный ли обычай? – Карл Карлович вздохнул.
- Ваше высочество, если вы рассчитываете, что я сейчас между супом и жарким разрешу вопрос, которым люди занимаются несколько тысяч лет, вы слишком высокого мнения о своём воспитателе.

Паткуль немедленно сказал:

- Я тоже так думаю.
- Тебя никто не спрашивал.
- Наконец-то за обедом возник вопрос, на который можно ответить сразу.

Мердер улыбнулся, и разговор был закрыт. Но одна его фраза осталась со мной: «Из самого положения это не следует». Её вполне мог произнести человек 1830 года, и это было полезным напоминанием. Нельзя было обращаться с эпохой как с единым мозгом. Норма существовала, но внутри неё люди спорили, сомневались, смягчали, ужесточали, нарушали собственные правила и придумывали основания для новых. История нравов не двигалась строем от одной общей установки к другой. В каждом времени было несколько конкурирующих представлений о допустимом, просто границы их распространения отличались. Поэтому особенно интересно мне стало наблюдать не редкие жестокости, а обычную доброту.

В предрождественские дни её вокруг было много. Маман занималась подарками не только для детей и родственников. Через её комнаты проходили списки прислуги, придворных, воспитанниц разных учреждений, людей, которым полагалось что-то передать, помочь, послать деньги или вещь. Она могла полчаса спорить, достаточно ли тёплая материя предназначена для какой-то женщины, которую я никогда не видел, и тут же совершенно спокойно говорить о другой женщине как о человеке, чья главная удача в жизни будет состоять в хорошем браке. Никакого противоречия она не ощущала. Её моральный мир был не менее искренним оттого, что его границы не совпадали с моими. Однажды я застал её за длинным столом с бумагами, коробками и несколькими маленькими футлярами. На соседнем кресле лежал свёрток ткани, на полу стояла корзина. Маман говорила с фрейлиной по-французски, сверяя имена. Увидев меня, она сразу прикрыла рукой маленькую коробку.

– Тебе сюда нельзя.

– Почему?

– Потому что ты любопытный.

– Это не причина.

– Для матери вполне достаточная. – Я остановился у двери.

– Тогда зачем меня пустили?

– Вероятно, потому что охрана дворца ещё не получила полного описания твоих новых недостатков. – Я подошёл ближе.

– Я ничего не буду смотреть.

– Уже смотришь.

– На бумаги.

– Особенно опасно. – Она всё-таки разрешила остаться, но пересадила так, чтобы часть подарков оказалась вне моего поля зрения. Я наблюдал, как она сверяет списки, и спросил, знает ли лично всех людей, которым что-то посылает.

– Конечно нет.

– Тогда как выбираешь?

– Мне пишут. Я спрашиваю тех, кто знает. Иногда люди сами обращаются.

– А если они обманывают? – Маман подняла глаза.

– Папа был прав.

– В чём?

– Ты теперь действительно способен испортить вопросами что угодно.

– Я серьёзно.

– Я тоже. Конечно, иногда обманывают. Значит, иногда подарок получает тот, кому он не нужен.

– Тебя это не сердит?

– Сердит.

– Тогда почему продолжаешь? – Она удивилась.

– Потому что другим нужен. – Ответ снова оказался проще моей конструкции.

– А если нельзя проверить всех?

– Саша, если я буду помогать только тем, про кого могу знать совершенно всё, мне останется помогать тебе, и то не всегда.

Я рассмеялся. Она продолжила писать, а потом вдруг сказала, не глядя на меня:

– Мне нравится, что ты теперь обо всём спрашиваешь.

– Даже когда порчу подарки?

– Даже тогда. Только иногда вспоминай, что человеку можно сначала дать подарок, а потом исследовать его устройство.

– Постараюсь.

– Ты это уже говорил Папе про выздоровление.

– И выздоровел. – Маман улыбнулась.

– Это правда.

Я смотрел на неё и думал, что передо мной очень хороший человек. Не в историческом смысле, не как фигура, которую нужно расположить на шкале прогрессивности, а в самом простом: ей нравилось делать другим хорошо, она тревожилась о близких, старалась не причинять лишней боли, умела быть щедрой и внимательной. При этом множество вещей, которые в моей прежней нравственной системе требовали объяснения, для неё объяснения не требовали вовсе. Такая комбинация постепенно разрушала ещё одну удобную схему: будто этические изменения происходят потому, что хорошие люди побеждают плохих. Гораздо чаще хорошие люди начинают иначе понимать, что именно является добром.

Рождественская неделя усилила ещё одну сторону новой жизни, которую до этого я мог большей частью воспринимать как учебный предмет. Религия здесь была везде, но не в том смысле, что окружающие непрерывно говорили о Боге. Как раз говорили они о Нём заметно реже, чем некоторые современные люди, превращавшие религиозность в особый вид публичной идентичности. В этом доме вера не нуждалась в постоянном назывании, потому что была встроена в расписание: утренняя молитва, Закон Божий, иконы в комнатах, крестное знамение перед определёнными действиями, богослужения, посты, праздники, именины. Фраза «если Бог даст» появлялась без всякой демонстративности там, где я прежде сказал бы «если всё будет нормально». Первое время я выполнял религиозные действия почти автоматически. Это тело знало их лучше моего сознания. Рука сама складывала пальцы для крестного знамения, ноги знали, когда поклониться, язык помнил молитвы, которых Александр Маркович никогда не учил целиком. В первые дни после болезни это просто вошло в общий список необъяснимых навыков рядом с французским и верховой ездой. Потом пришлось определить собственное отношение.

В прежней жизни я был агностиком не из воинствующей осторожности и не потому, что считал верующих менее рациональными. Мне просто не хватало оснований утверждать то, чего я не знал. Существование Бога относилось к категории вопросов, по которым мир не предоставил мне достаточного набора данных. Можно строить философские аргументы, обсуждать происхождение сознания, космологию, религиозный опыт, но всё это не превращалось для меня в знание. После смерти ситуация, казалось бы, должна была измениться: я умер и проснулся за двести лет до собственного рождения. Очень весомый аргумент в пользу того, что прежняя картина мира неполна, но не в пользу конкретной теологии. Если необъяснимое произошло, из этого не следовало автоматически, что православное описание устройства Вселенной стало истинным во всех подробностях. Ровно так же необъяснимое перемещение сознания не доказывало индуизм, буддизм, христианство или гипотезу неизвестной физики. Профессиональная привычка не позволяла перепрыгнуть от «я столкнулся с невозможным» к «следовательно, вот конкретное объяснение невозможного». И всё-таки религиозная практика теперь ощущалась иначе, особенно накануне Рождества.

Герасим Петрович Павский не был похож на человека, который хочет поймать ученика на недостаточной вере. На занятиях Законом Божиим он говорил спокойно, часто объяснял значение текста, разбирал слова и исторические обстоятельства. Для меня это было значительно удобнее, чем если бы он требовал непрерывного выражения благочестивого чувства. В один из последних уроков перед праздником мы читали евангельский рассказ о Рождестве. Я слушал знакомые фразы и неожиданно понимал, что впервые в жизни читаю их внутри общества, для которого это не культурный текст и не предмет частного убеждения, а история, задающая календарь. После занятия Павский закрыл книгу.

– На сегодня довольно. – Я поднялся вместе с остальными.

– Александр Николаевич, задержитесь на минуту. – Я остался. Он не выглядел ни суровым, ни особенно торжественным.

– Карл Карлович говорит, вы после болезни много думаете. – Я внутренне усмехнулся. Кажется, эта формулировка уже стала официальной семейной версией происходящего.

– Наверное.

– Это хорошо. Только не всегда полезно думать одному. Если что-нибудь в моих уроках непонятно или кажется трудным, спрашивайте.

– Я спрашиваю.

– О фактах. Я говорю не только о фактах. – Вот здесь мне впервые стало немного неуютно. Не потому, что он что-то подозревал, конечно. Просто область разговора подошла к месту, где правдивый ответ мог оказаться социально неудобным.

– Хорошо, – сказал я. – Павский внимательно посмотрел на меня и, к моему облегчению, не стал требовать немедленных откровений.

– И ещё. Завтра служба будет долгой. Вы недавно болели. Если устанете, скажите Карлу Карловичу. Благочестие не состоит в обмороке. – Я невольно улыбнулся.

– Я постараюсь не доказывать веру таким способом. – Он тоже улыбнулся.

– Вот и прекрасно.

На следующий день я стоял на службе и думал значительно меньше, чем ожидал. Это было, вероятно, самым честным способом пережить её. Свет свечей, запах ладана, голоса хора, блеск облачений, знакомые движения людей вокруг создавали пространство, которое трудно было свести к утверждениям о существовании Бога.

Я мог не знать, истинно ли богословское объяснение происходящего, и при этом слышать музыку. Мог сомневаться в метафизике и понимать, почему Маман крестится особенно медленно, почему Мэри рядом перестала вертеться, почему Папа, обычно неспособный провести несколько минут без дела, стоит совершенно неподвижно.

В моей прежней эпохе религию часто обсуждали как набор убеждений: верит человек в существование Бога или не верит, принимает догматы или отвергает, принадлежит к конфессии или нет. Здесь я физически ощущал, насколько этого описания недостаточно.

Религия была ещё действием, привычкой тела, календарём, музыкой, общим временем, языком смерти и благодарности, способом пережить страх за больного ребёнка. Маман, возможно, за дни моей горячки сказала Богу больше, чем врачу, и я не мог относиться к этому с высокомерной усмешкой только потому, что не умел доказать адресата её слов. Когда все перекрестились, моя рука сделала то же. Я не почувствовал, что солгал, но и верующим от этого не стал. Станным образом мне этого пока хватало.

После службы дворец резко вернулся к земному. Дети хотели подарков, взрослые обсуждали обед, кто-то торопился, кто-то искал потерянную вещь, а Маман почти сразу снова превратилась из императрицы, стоящей перед иконами, в женщину, пытающуюся не дать Мэри раньше времени заглянуть за нужную дверь.

На Рождество ёлок действительно оказалось несколько. Я знал, что они будут, и всё равно испытал то детское возбуждение, которое совершенно не зависело от количества прожитых мной лет. В комнатах горели свечи, на ветвях висели сладости и маленькие украшения, вокруг лежали подарки.

Маман наслаждалась нашей реакцией почти больше, чем мы самими вещами. Мэри вскрикивала, Ольга старалась держаться достойнее и всё равно забывала, маленького Костю вообще приходилось несколько раз возвращать от одной вещи к другой, потому что он хотел немедленно получить всё и одновременно.

Мне достались книги, несколько предметов для занятий, вещи, которые тело Саши узнавало как желанные прежде, чем я успевал понять почему, и одна вещь, совершенно бесполезная с точки зрения шестидесятилетнего профессора и потому особенно прекрасная: новая модель пушки, достаточно подробная, чтобы рассматривать механизм, и достаточно игрушеч-

ная, чтобы через десять минут мы с Паткулем уже пытались решить, можно ли из неё чем-нибудь выстрелить.

– Нельзя, – сказал Иосиф.

– Почему?

– Потому что это модель.

– В настоящей пушке тоже сначала была модель, – сказал Паткуль.

– Это ничего не значит. – Я осмотрел ствол.

– Вообще-то можно попробовать... – Карл Карлович возник рядом.

– Вообще нельзя.

– Вы даже не знаете, что мы собирались делать.

– Именно поэтому нельзя заранее.

– Это несправедливо.

– Зато действует. – Мэри, проходившая мимо с кукольным сервизом, остановилась.

– Вы опять что-то ломаете?

– Пока нет.

– Тогда я позову, когда сломаете.

– Почему?

– Хочу видеть лицо Карла Карловича.

Мердер сказал:

– Великая княжна, я рад, что моя педагогическая деятельность доставляет семье столько удовольствия.

Мэри сделала реверанс с таким серьёзным лицом, что рассмеялся даже он. В течение нескольких часов всё было именно так: подарки, разговоры, детский шум, взрослые визиты, лотерея для свиты, переходы из комнаты в комнату. Я знал, что нахожусь в Зимнем дворце, в семье российского императора, посреди исторического периода, который в прежней жизни изучал по книгам. Но историчность происходящего почти исчезла под обыкновенностью семейного праздника. Папа мог двадцать минут пытаться заставить трёхлетнего сына надеть башмак, Мэри обижалась, потому что Ольга что-то получила раньше неё, Костя устал и начал капризничать, Паткуль пытался выяснить, нельзя ли обменять часть сладостей на что-нибудь более полезное, а Иосиф заявил, что сладости сами по себе полезны, если их есть. Я обнаружил, что смеюсь настолько часто, что к вечеру болят мышцы лица. Вот, пожалуй, что сильнее всего меняло отношение к прошлому. История в учебнике неизбежно сортирует людей по значимости событий. Николай Первый там состоит из восстания декабристов, цензуры, бюрократии, войн и внешней политики; Александра Фёдоровна из происхождения, брака, детей и нескольких характеристик современников; Мария Николаевна из даты рождения, брака, художественных интересов и Мариинского дворца. В жизни Папа мог двадцать минут пытаться заставить трёхлетнего сына надеть башмак. И это тоже был Николай Первый. Не «настоящий» вместо исторического, просто тот же человек целиком.

К вечеру я устал и ушёл раньше взрослых. Иосиф и Паткуль ещё оставались, но мы договорились встретиться утром. Паткуль, уходя, заявил:

– Ты всё-таки стал другим. – Я посмотрел на него.

– В каком смысле?

– Раньше ты бы уже попробовал выстрелить из пушки.

Иосиф сказал:

– Раньше он сначала выстрелил бы, а потом спросил, почему нельзя.

– Вот! – обрадовался Паткуль. – А теперь наоборот.

– Это называется ум.

– Это называется старость. – Я бросил в него небольшой диванной подушкой. Он увернулся.

– Видишь, не всё потеряно.

Когда они ушли, я ещё некоторое время думал о фразе «стал другим», но тревоги она уже почти не вызвала. Они замечали изменение, потому что изменение действительно существовало. Только объяснение у них было нормальное: болезнь, взросление, характер. Через год, возможно, Паткуль будет рассказывать кому-нибудь, что я «всегда любил задавать вопросы», и сам будет в это верить.

После Рождества дни до Нового года шли легче. Уроков было меньше, прогулок больше, взрослые были заняты собственными праздничными обязанностями. В один из таких вечеров я застал Мэри за занятиями. Это случилось почти случайно: я искал Жуковского, которого не оказалось у себя, прошёл через несколько знакомых комнат и услышал голос сестры. Она читала по-французски, медленно и с тем особенным раздражением, которое возникает, когда текст не представляет трудности, но читать его всё равно велено вслух. Я заглянул. Мэри сидела за столом; рядом лежали тетради, книга, нотная папка и лист с рисунком. Её наставница сидела напротив и поправляла произношение там, где, по моему слуху, поправлять почти нечего. Мэри заметила меня, но сделала вид, что не заметила, пока урок не закончился. Через несколько минут наставница отпустила её и вышла.

– Ты спасён, – сказала Мэри, откидываясь на спинку кресла.

– От французского чтения.

– Ты говоришь по-французски лучше, чем читаешь.

– Поэтому я не понимаю, зачем читать вслух.

– Чтобы говорить ещё лучше.

– Я уже говорю. – Я сел напротив и посмотрел на стол.

– Что у тебя сегодня было?

– Всё.

– Очень точное описание.

– Русский, французский, немецкий, арифметика, история. Потом музыка. Потом рисование. Теперь чтение.

– География?

– Вчера.

– Арсеньев?

– Нет.

– А кто? – Она назвала учителя.

– А статистика? – Мэри посмотрела непонимающе.

– Какая статистика?

– Население, губернии, доходы, всякие сведения.

– Зачем? – Я не ответил сразу.

– Мне это преподают.

– Ты наследник. – Фраза прозвучала совершенно естественно.

– И что?

– Тебе надо.

– А тебе не надо?

– Нет.

– Почему? – Теперь уже она начала раздражаться.

– Потому что я не буду государем.

– Это я понимаю. А историю тебе зачем?

– Чтобы знать историю.

– Географию?

– Чтобы знать страны.

– Арифметику?

- Саша, ты совсем дурак после болезни?
- Наоборот, все говорят, что умнее. – Она закатила глаза.
- Тогда почему спрашиваешь?

Я взял со стола её тетрадь. Арифметика была вполне серьёзная, не игрушечная. На соседнем листе лежали аккуратные французские упражнения. Её образование вовсе не было тем карикатурным «танцы, вышивание и как улыбаться мужу», которое легко представить человеку из будущего. Мэри учила языки, историю, географию, арифметику, Закон Божий, читала, занималась музыкой и рисунком. Для девочки её положения это было хорошее образование, гораздо лучше того, что получало подавляющее большинство мужчин империи. И всё-таки его цель отличалась от моей.

- А фортификацию тебе не преподают? – Она рассмеялась.
- Нет.
- Почему смешно?
- Что я буду делать с фортификацией?
- То же, что я.
- Ты будешь командовать армией.
- Я надеюсь делать это как можно реже.
- Папа говорит, государь должен знать военное дело.
- Папа много чего говорит.
- Не говори так при нём.
- Я говорю не против Папы. – Она забрала у меня тетрадь.
- Я всё равно не хочу учить фортификацию.
- А если бы хотела? – Мэри пожала плечами.
- Тогда попросила бы Папу.
- Он бы разрешил?
- Наверное.

Вот здесь я остановился. Это было важно. Я почти автоматически начал строить модель системы, в которой девочке запрещено знание, а реальная Мэри ответила: если бы захотела, вероятно, попросила бы отца. Возможно, ей действительно дали бы учителя. Императорская дочь имела привилегии, которые плохо помещались в общую схему женского образования. Не стоило придумывать угнетение там, где конкретный человек его пока не ощущал.

- А статистику ты хочешь?
- Нет.
- Почему?
- Потому что ты рассказываешь про неё ужасно скучно.
- Неправда.
- Ты однажды за ужином говорил про губернаторские отчёты.
- Это было интересно.
- Тебе.
- Папа тоже заинтересовался.
- Папа государь. Ему положено. – Я посмотрел на неё.
- А тебе что положено? – Она опять пожала плечами, уже не замечая вопроса как чего-то необычного.
- Учиться. Потом выезжать. Потом когда-нибудь выйду замуж.
- За кого?
- Откуда я знаю?
- И куда?
- Саша!
- Мне интересно.

– Ты теперь ужасный. – Она поднялась и начала собирать книги.

– Маман говорит, что, может быть, я вообще останусь в России.

Я знал, что так и будет. Знал мужа, которого она выберет. Знал дворец, который получит её имя. Знал, что Мария Николаевна окажется женщиной довольно самостоятельной, живой, упрямой и далеко не беспомощной. Сейчас передо мной стояла одиннадцатилетняя девочка, которой уже преподавали много хороших и полезных вещей, но не те, которые должны были готовить человека к принятию решений о государстве. В моём расписании само собой появлялись дисциплины, связанные с будущей функцией. В её расписании само собой появлялись музыка, рисунок, языки, манеры, знания, необходимые образованной великой княжне. Никто не собирался сделать Мэри глупой. Наоборот, её старались хорошо образовать. Просто ещё до того, как способности ребёнка успели полностью проявиться, общество уже знало, для какой жизни эти способности понадобятся.

– Мэри, а тебе нравится история? – Она посмотрела на меня как на человека, который наконец задал нормальный вопрос.

– Да. Иногда.

– А арифметика?

– Когда получается.

– Ты ведь не хуже Паткуля считаешь.

– Лучше.

– Это правда.

– Конечно правда.

– Тогда почему ему будут рассказывать вещи, которые тебе не расскажут? – Она задумалась лишь на секунду.

– Потому что он мальчик.

И снова никакого возмущения. Просто факт. Так устроено. Я помог ей сложить книги и ничего больше не спросил. Мэри уже потеряла интерес к теме и рассказывала, какое платье Маман разрешила надеть на один из предстоящих вечеров. Я слушал внимательнее, чем раньше. Не потому, что внезапно заинтересовался платьем, а потому, что теперь понимал: её мир нельзя свести к тому, чего в нём нет. Для неё музыка, наряды, танцы, семья, будущие выезды и разговоры были не навязанной пустотой вместо настоящей жизни. Это и была настоящая жизнь, такая же наполненная отношениями, удовольствием, амбициями и выбором, как моя. Но учебная программа всё равно не давала покоя. Она была хорошей, и именно поэтому различие становилось интереснее. Если бы Мэри вообще не давали образования, вопрос был бы простым: ей запрещают знать. Но её учили много и старательно. Разница находилась не между знанием и невежеством, а между двумя наборами ожидаемой компетентности. Меня с детства постепенно готовили к тому, чтобы однажды иметь дело с армией, администрацией, законами, территорией и государственными сведениями. Мэри готовили к тому, чтобы быть образованной женщиной её круга, дочерью государя, хозяйкой большого дома, женой человека соответствующего положения и участницей придворной жизни.

Сначала общество определяло будущую роль, потом под неё давало знания. Через двадцать лет различия в знаниях можно будет предъявить как доказательство естественности самой роли: женщины не занимаются тем-то, потому что они этого не знают. А откуда им было знать то, чему их заранее решили не учить? Мысль была знакомой до банальности из моей прежней жизни, но в новом времени она впервые сидела передо мной за столом, сердито закрывала французскую книгу и была моей младшей сестрой. Мэри закончила собирать тетради.

– Пойдём?

– Куда?

– Маман разрешила посмотреть украшения для завтрашнего вечера. Только не начинай спрашивать, сколько людей их делало. – Я встал.

- Не буду. – Она подозрительно прищурилась.
- Правда?
- Сегодня нет.
- Ты всё-таки стал лучше после болезни.

Мы вышли вместе. Я ещё раз посмотрел на её книги, оставшиеся на краю стола, и решил, что пока не знаю о женском воспитании даже достаточно, чтобы правильно сформулировать вопрос. Это было уже привычное состояние и почти приятное. Значит, сначала следовало посмотреть, чему действительно учат Мэри, чему учат других девочек, что из этого выбирают родители, что считается обязательным и какие возможности появляются, если девочка сама захочет выйти за пределы программы. Не исправлять. Сначала понять. Но на этот раз за вопросом стоял человек, которого я любил, и оттого терпение давалось чуть труднее.

Глава 4

19 января 1831 года

Я всё ещё думаю о наказаниях. Чем больше думаю, тем меньше понимаю, что именно люди называют справедливостью.

Если два человека сделают одно и то же, их вовсе не обязательно накажут одинаково. Дворянина нельзя высечь, а другого человека можно. Для ребёнка и взрослого будут разные меры. Солдата накажут за то, за что штатского, может быть, вовсе не станут наказывать. Иногда дело зависит от возраста, иногда от звания, иногда от того, кому человек подчинён. Всё это окружающим кажется совершенно естественным.

Наверное, иногда различие разумно. Было бы странно требовать от пятилетнего того же, что от взрослого. Но возраст по крайней мере имеет отношение к самому человеку и к тому, чего от него можно ожидать. Почему одно и то же действие становится более или менее достойным наказания оттого, что человек родился дворянином, я понимаю гораздо хуже.

Ещё страннее, что человека можно заставить отвечать не только за себя. Наказывают целую часть, если виноватых не нашли. Сердятся на всех слуг из-за проступка одного. Семья может терпеть последствия поступка своего главы. И никто при этом не говорит, что наказывает невиновных. Как будто вина иногда умеет переходить с человека на тех, кто стоит рядом с ним.

Может быть, потому, что наказание не всегда существует только для виноватого. Им ещё хотят восстановить порядок, устрашить других, заставить лучше смотреть за своими, показать, что проступок не останется без последствий. Тогда становится понятнее, зачем наказывают тех, кто сам ничего не сделал.

Но справедливее от этого не становится.

*Кажется, я раньше смешивал два разных вопроса: **«зачем наказывают»** и **«за что человек заслуживает наказания»**. На первый может быть очень много полезных ответов. На второй ответ должен каким-то образом относиться к самому человеку.*

Пока я не понимаю, где именно проходит эта граница.

Польша вошла в мою жизнь задолго до того, как я понял, что это Польское восстание. Поначалу она существовала в виде обрывков взрослых разговоров: «Опять из Варшавы», «Есть письмо от Константина», «Государь занят польскими делами», «Сегодня доклад будет позже». Папа стал чаще исчезать из семейной жизни, хотя после Рождества я вообще видел его меньше и сначала связывал это с обычным возвращением государственных обязанностей после праздников. Маман время от времени получала письма, после которых становилась рассеянное, спрашивала, есть ли новости от великого князя Константина, и один раз неожиданно резко ответила фрейлине, предложившей что-то совершенно безобидное. Через несколько минут она извинилась и призналась, что плохо спала. Я знал, что дядя Константин находился в центре польских событий, и где-то на периферии сознания даже существовало старое историческое знание о его роли в Царстве Польском. Но исторические сведения редко лежат в памяти аккуратной таблицей с датами. Имя вызывает биографию, событие вызывает следующее событие, а фраза «из Варшавы опять дурные новости» вовсе не обязана немедленно открывать нужный параграф учебника.

Для двенадцатилетнего Саши происходящее тоже не было чем-то совершенно посторонним. Папин брат, которого в семье называли и обсуждали как живого родственника, оказался вынужден покинуть Варшаву. Маман тревожилась, Папа сердился, в доме стало больше офицеров и курьеров, а некоторые взрослые разговоры при нашем появлении прекращались. Этого было достаточно, чтобы дети знали: в Польше мятеж. Недостаточно, чтобы понимать

его устройство. Паткуль, например, однажды сообщил нам с Иосифом, что «поляки взбунтовались против государя», причём произнёс это с той уверенностью, которая обычно появляется у ребёнка после того, как он услышал одну фразу от взрослого и не успел услышать вторую. Мы сидели у окна после занятия, ожидая Мердера. Паткуль возился с перочинным ножом, пытаясь вырезать из щепки нечто, что он называл кораблём, хотя сходство с судном зависело исключительно от доброй воли наблюдателя. Иосиф читал, а я пытался понять задачу, которую Арсеньев оставил на завтра.

– Я бы на месте государя давно послал туда армию, – сказал Паткуль.

– Куда? – спросил Иосиф.

– В Польшу.

– Она уже там есть.

– Другую. Большую.

– Очень точный военный план. – Паткуль не почувствовал насмешки.

– Мятеж ведь надо подавить.

– А чего они хотят? – спросил я. – Он перестал строгать.

– Кто?

– Поляки.

– Независимости.

– Все?

– Ну... те, которые взбунтовались.

– Тогда не поляки вообще.

– Саша, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

– Вот я как раз не уверен. – Иосиф закрыл книгу пальцем.

– Сейчас начнётся.

– Что?

– Ты спросишь ещё восемь раз.

– Я задал нормальный вопрос. Из-за чего начался мятеж? – Паткуль посмотрел на Иосифа, Иосиф на Паткуля. Оба, очевидно, обнаружили, что знают значительно меньше, чем предполагали.

– Они не любят дядю Константина, – наконец сказал Паткуль.

– Почему?

– Он строгий.

– Карл Карлович тоже строгий.

– Не так.

– Как?

– Откуда я знаю? Польские офицеры его ненавидят.

– Все? – Паткуль бросил щепку.

– Невозможно с тобой разговаривать.

– Потому что ты говоришь «все», когда не знаешь, сколько.

– Никто не знает, сколько.

– Вот именно. – Иосиф всё-таки улыбнулся.

– Пожалуй, это был девятый вопрос.

В тот момент разговор не привёл ни к чему. Я снова занялся задачей, Паткуль вернулся к своему кораблю, а минут через десять пришёл Мердер и сообщил, что прогулка состоится несмотря на снег. Польша отошла куда-то на задний план вместе со всеми прочими делами взрослых. Так бывало постоянно. Ребёнок может жить в доме государственного деятеля во время международного кризиса и гораздо острее переживать, что ему не разрешили взять другую лошадь.

Однако вокруг продолжали говорить. Арсеньев однажды упомянул Царство Польское на географии и почти сразу столкнулся с моей новой привычкой задавать вопросы. Я уже знал, что оно связано с Россией не так, как обычная губерния, но «не так» оказалось удивительно содержательным. У него была собственная конституция, сейм, армия, администрация; русский император являлся одновременно польским королём. На карте это выглядело частью одного государства, а юридически конструкция была заметно сложнее. Арсеньев объяснял спокойно, стараясь не превращать урок в обсуждение текущего мятежа, и я впервые почувствовал, насколько слово «принадлежит» плохо описывает государственные устройства.

– Значит, Польша не просто российская область?

– Царство Польское соединено с Российской империей особым образом, – ответил Арсеньев. – Государь император есть также король польский.

– А законы у них свои?

– В значительной мере.

– И сейм настоящий?

Паткуль снова вклинился:

– Нет, нарисованный. – Арсеньев посмотрел на него.

– Александр Владимирович, если вам нечем заняться, я могу помочь. – Паткуль затих.

– Настоящий, ваше высочество. Хотя полномочия его, разумеется, ограничены властью монарха и конституцией.

– А армия?

– Своя.

– Тогда почему дядя Константин ею командовал?

– Потому что государь поручил ему командование.

– Польские офицеры обязаны ему подчиняться?

– Разумеется.

– Но он не король.

– Нет.

– И не поляк. – Арсеньев снял очки.

– Я чувствую, что мы опять покидаем географию.

– Я просто хочу понять конструкцию.

– Это хорошее желание. Но конструкция Царства Польского достаточно сложна, чтобы посвятить ей отдельный разговор.

– Тогда можно отдельный? – Он вздохнул, но по выражению лица было видно, что на самом деле не возражает.

– Спросите Василия Андреевича. Он будет счастлив, что вы нашли ещё один способ увеличить учебную программу.

Это я и собирался сделать, но не сделал. В тот день приехал кто-то из родственников Маман, вечером были гости, на завтра верховая езда, затем несколько занятий, потом я поссорился с Паткулем из-за совершенно постороннего дела. Жизнь снова отодвинула историю. Я знал, что в Варшаве продолжается мятеж, но понятие «мятеж» оставалось текущей новостью, а не историческим названием.

Перелом произошёл спустя несколько дней за завтраком. Папа обычно не завтракал с нами в это время, но в то утро появился ненадолго, уже одетый для дел. Он был спокойнее, чем в предыдущие дни, и именно поэтому я сразу заметил, что случилось что-то особенно дурное. Когда человек постоянно раздражён, новая неприятность теряется в общем фоне; когда он становится очень собранным, начинаешь смотреть внимательнее. Маман спросила его по-французски:

– Есть подтверждение? – Папа кивнул.

– Есть.

– Окончательно?

– Сейм принял решение. – Мэри, сидевшая рядом, посмотрела сначала на него, потом на Маман.

– Какое решение? – Папа помолчал, словно только сейчас вспомнил, что за столом дети.

– Польский сейм объявил, что я больше не их король.

– Они могут так сделать? – спросила Мэри.

– Нет, – сказал Николай.

Это «нет» прозвучало с такой окончательностью, что для любого нормального двенадцатилетнего ребёнка разговор на этом завершился бы. Для меня он только начался. Польский сейм. Лишение Николая польской короны. Я посмотрел на Папу и внезапно почувствовал, как где-то в памяти открылась дверь. Ноябрьское восстание. Не просто «мятеж в Варшаве». Польское восстание 1830–1831 годов. То самое. Пётр Высоцкий, юнкера, попытка захватить Константина в Бельведере, польская армия, потом Дибич, Грохов, поражение восстания, эмиграция, ликвидация большей части автономии Царства Польского. Я сидел с ложкой в руке и с совершенно идиотским запозданием понимал, что история, которую много лет знал как законченный сюжет, уже два месяца происходила вокруг меня.

Часть подробностей сразу начала всплывать именно потому, что получила правильное название. Это было похоже на поиск файла по неверному имени: всё лежит на диске, но пока не нашёл нужную папку, кажется, что информации нет. Я помнил, что восстание началось в конце ноября, помнил польский сейм, детронизацию Николая, войну 1831 года и то, что после поражения автономия будет резко урезана. Помнил последующие репрессии, эмиграцию польской элиты и десятилетия русско-польской вражды. Но чем сильнее пытался восстановить события января по дням, тем быстрее обнаруживались дыры. Кто именно сейчас управлял в Варшаве? Члопицкий ещё диктатор или уже ушёл? Когда именно появляется Чарторыйский во главе правительства? Какие условия Петербург передавал польским представителям? Какие предложения реально существовали до детронизации? Что уже решено, а что ещё нет? Вот этого я не помнил. И именно эта нехватка памяти оказалась полезнее узнавания.

– Саша? – Я поднял глаза. Маман смотрела на меня.

– Что?

– Ты застыл.

– Я задумался. – Папа усмехнулся без веселья.

– В последнее время это твоё обычное состояние. – Я осторожно положил ложку.

– Папа, а что, собственно, происходит?

– В каком смысле?

– В Польше. Не последняя новость. Вообще. – Папа явно ожидал другого вопроса.

– Ты знаешь достаточно. В Варшаве подняли мятеж. Константин вынужден был оставить город. Теперь мятежники окончательно отбросили законность и объявили короля низложенным.

– Почему подняли? – Николай нахмурился.

– Потому что нашлись люди, решившие, что могут добиться политических целей оружием.

– Каких целей?

– Саша.

В голосе появилась первая нотка раздражения, но Маман вмешалась:

– Ты сам всё время говоришь, что он должен интересоваться государственными делами.

– Папа бросил на неё взгляд.

– Я ещё пожалею об этом.

– Уже жалеешь. – Он вздохнул и повернулся ко мне.

– Хорошо. Часть польской молодёжи и офицеров давно была заражена революционными идеями. После событий во Франции и Бельгии они решили, что настал удобный момент. Напали в Варшаве, пытались захватить Константина, вооружили толпу. Дальше слабость и нерешительность местных властей позволили беспорядку превратиться в открытый мятеж.

– А чего они хотели сначала?

– Я только что объяснил.

– Нет. Ты объяснил, что они сделали.

За столом стало чуть тише. Маман опустила глаза, скрывая улыбку. Мэри смотрела с неподдельным интересом. Папа несколько секунд изучал меня, затем всё-таки ответил:

– Сначала многие из них говорили о соблюдении польской конституции, об удалении Константина, о переменах в управлении. Другие хотели большего. Теперь, как видишь, речь уже идёт о разрыве с династией.

– Они говорили, что конституция не соблюдается?

– Говорили многое.

– А соблюдалась?

Теперь Маман тихо произнесла:

– Саша. – Не предупреждение, скорее напоминание о границе. Папа, однако, не рассердился.

– Не в том смысле, который придают ей польские оппозиционеры. Конституция не давала сейму права превращать каждое несогласие с короной в борьбу против правительства.

– Я не про это. Там написано, что именно Папа должен делать?

– Разумеется.

– И что сейм должен?

– Разумеется.

– Тогда можно посмотреть? – Николай покачал головой с выражением человека, который внезапно увидел впереди очень длинную дорогу.

– Конституцию?

– Да.

– Зачем?

– Чтобы понимать, о чём они спорят. – Папа посмотрел на Маман.

– Это всё болезнь.

– Я предупреждала, что он стал серьёзнее.

– Слишком.

Я решил, что разговор закончен, но Николай вдруг сказал:

– Попроси Василия Андреевича. Пусть объяснит тебе устройство Царства. Только не воображай, что чтение конституции сделает тебя судьёй между мной и мятежниками.

– Не буду.

– Вот это обещание запиши отдельно. – После завтрака я действительно пошёл к Жуковскому. Он выслушал просьбу значительно спокойнее, чем Папа.

– Значит, наконец добрались до Польши.

– Я давно слышал про мятеж.

– Но только сегодня заинтересовались?

– Сегодня понял, что ничего не понимаю.

– Прекрасное начало.

– Почему все так любят эту фразу?

– Потому что она редко встречается у людей, обсуждающих политику.

Он нашёл несколько книг и бумаг, затем велел принести карту. Через четверть часа передо мной уже лежала история, заметно отличавшаяся от простой конструкции «Польша была частью России и восстала». После Венского конгресса возникло отдельное Царство Поль-

ское, связанное с Российской империей личностью монарха. Александр Первый дал ему конституцию. Польша получила собственный сейм, администрацию, суды, войско, польский язык управления. Монарх сохранял большие полномочия. Всё это существовало не как подарок, который можно в любой момент забрать без последствий, но и не как полностью независимое государство.

– А почему тогда они недовольны? – спросил я.

– Вы хотите короткий ответ или полезный?

– Полезный.

– Тогда придётся терпеть.

Он рассказывал долго: о надеждах польской элиты после 1815 года, о разнице между тем, что ожидали в Варшаве, и тем, как устройство союза понимали в Петербурге; о цензуре, оппозиции в сейме, тайных обществах, взаимном раздражении; о Константине, который мог быть лично способен на привязанность и великодушие, но обращался с офицерами так, что унижение становилось частью дисциплины. Я несколько раз перебивал, Жуковский каждый раз возвращал меня назад.

– То есть дядя Константин действительно их унижал?

– Я сказал не это.

– Почти это.

– Я сказал, что многие польские офицеры воспринимали его обращение как унижительное.

– А оно было?

– Александр Николаевич, вы опять хотите получить факт там, где часть факта находится в восприятии. Константин Павлович не считал требовательность унижением. Офицер, которого публично оскорбили, мог считать иначе. Обе эти вещи одновременно существуют. – Я невольно улыбнулся.

– Василий Андреевич, вы сейчас говорите почти как... – Пришлось оборвать себя.

– Как кто?

– Как хороший учитель.

– Спаслись.

– Но если всё было плохо уже давно, почему восстание началось именно сейчас?

– Хороший вопрос. Франция. Бельгия. Страх, что польские войска будут использованы против революций в Европе. Заговорщики существовали и прежде. Иногда для события нужен не новый повод, а момент, когда старые причины становятся достаточными. – Вот это уже звучало совершенно знакомо.

– А большинство поляков хотело восстания? – Жуковский развёл руками.

– Как вы предлагаете измерить большинство? – Я рассмеялся.

– Это нечестно.

– Почему?

– Вы знаете, что я не могу.

– Именно поэтому ответ «поляки хотели» мало что даёт. – Он рассказал о растерянности первых дней, о том, что часть старших политиков стремилась остановить восстание и договориться с Петербургом, тогда как радикалы хотели идти дальше. Эта подробность ударила особенно сильно.

– Подождите. То есть после начала мятежа они ещё хотели договориться?

– Некоторые, да.

– С Папой?

– Разумеется.

– И что предлагали? – Жуковский посмотрел на меня внимательнее.

– Вот это вам лучше спросить у государя. Я не присутствовал при переговорах.

Картина становилась неприятно объёмной. Не потому, что я внезапно решил, будто восставшие правы, а Папа нет. Простое распределение правоты вообще переставало работать. Были офицеры-заговорщики, которые начали вооружённое выступление и убили людей, отказавшихся к ним присоединиться. Было правительство Царства, которое годами жило внутри конституционной системы и считало часть её правил нарушенными. Был Николай, для которого мятеж означал не только польский вопрос, но ещё один эпизод революционной волны, уже прокатившейся по Франции и Бельгии. Был Константин с его совершенно реальной способностью доводить подчинённых до ненависти. Были политики, пытавшиеся после начала восстания вернуть ситуацию к переговорам, и радикалы, считавшие переговоры предательством. И где-то внутри всего этого находились миллионы людей, которых никто из говорящих не спрашивал.

– Василий Андреевич, а крестьяне?

– Что крестьяне?

– Они тоже восстали?

– Некоторые могли участвовать. Но восстание началось не как крестьянское движение.

– А сколько крестьян вообще понимают, за что спорит сейм с Папой?

– Вероятно, по-разному.

– То есть когда говорят «Польша восстала», это...

Я остановился. Жуковский закончил:

– Удобное сокращение.

– Очень удобное.

– Государство вообще любит сокращения. Иначе государю пришлось бы вместо одного доклада слушать миллион голосов.

– Но сокращение начинает выглядеть человеком. «Польша решила». «Россия хочет». А на самом деле...

– А на самом деле решения принимают вполне определённые люди.

– Вот именно. – Жуковский улыбнулся.

– Я начинаю понимать, почему Арсеньев жалуется.

Вечером я открыл тетрадь с вопросами и впервые за долгое время не знал, с чего начать. Можно было записать десятки: что требовали польские представители, что отвечал Папа, каковы полномочия сейма, кто сейчас контролирует армию, насколько восстание распространилось за пределы Варшавы, как российское правительство собирается отличать участников от остальных, каким должен быть результат войны, если она начнётся в полном масштабе. Последний вопрос заставил остановиться. Если она начнётся. Историческая память тут же поправила: начнётся. Уже почти началась. Я знал конец. Восстание будет подавлено, Варшава падёт, польская автономия будет резко сокращена. Конституционный порядок 1815 года исчезнет. Репрессии, эмиграция, конфискации, дальнейшее отчуждение, следующие восстания. Я сидел перед тетрадью и впервые почувствовал не азарт узнавания, а ответственность от знания будущего.

До этого история была для меня полезным фоном. Я знал, когда умрёт Николай, знал, что сам Александр станет императором, помнил большие войны и реформы, но всё это находилось далеко. Польша происходила сейчас. Если я действительно знаю хотя бы часть результата, имею ли право просто наблюдать? Первая реакция была почти автоматической: надо что-то сделать. Вторая оказалась полезнее: что именно? Мне двенадцать лет. У меня нет должности, армии, права голоса в Государственном совете и даже полного доступа к бумагам, на основании которых принимаются решения. Я могу поговорить с Папой. И всё. Станным образом это «всё» оказалось не совсем ничем. В прошлой жизни я много раз наблюдал, как люди недооценивают влияние неформального разговора только потому, что оно не оформлено в полномочия. Если человек принимает решение, значение имеет не только тот, кто подписывает ему доклад. Имеет значение вопрос, который ему задали за завтраком, слово, которое потом воз-

вращается, категория, однажды замеченная и после этого мешающая мыслить по-старому. Но превращать отношения с отцом в политический инструмент я не хотел. Папа доверял мне не как маленькому советнику, а как сыну. Если начать подсовывать ему заранее рассчитанные конструкции, довольно скоро я сам перестану понимать, где разговариваю, а где манипулирую. Значит, оставался способ, которым я и так пользовался всю жизнь: спрашивать то, что действительно хочу понять. Следующая возможность появилась быстрее, чем ожидалось. Папа пришёл поздно вечером, когда я читал в соседней комнате. Он выглядел усталым, снял перчатки, бросил их на стол и спросил, почему я ещё не сплю.

– Мне разрешили до десяти.

– Кто совершил такую ошибку?

– Карл Карлович.

– Поговорю с ним. – Я закрыл книгу.

– Папа.

– Что?

– Можно спросить про Польшу? – Он посмотрел на меня почти обречённо.

– Я знал.

– Что?

– Василий Андреевич сегодня слишком довольный ходил.

– Он ничего мне не внушал.

– Это как раз самое опасное в Жуковском. Он умеет сделать так, чтобы человек сам себе внушил. – Николай сел напротив.

– Спрашивай.

– После мятежа к тебе приезжали поляки договариваться?

– Приезжали.

– Чего хотели?

– Чтобы я признал почти всё, чего мятеж добился силой, и после этого ещё обсуждал расширение их прав.

– Почти всё это что?

– Удаление Константина. Изменение управления. Гарантии конституции. Различные требования относительно земель, которые они считают польскими.

– А ты что ответил?

– Что сначала должно быть восстановлено законное повиновение.

– То есть сначала они прекращают мятеж, потом можно говорить?

– Именно.

– А они?

– Хотели гарантий до того, как сложат оружие. – Я подумал.

– Потому что боялись, что после того, как сложат, ты ничего не дашь. – Николай посмотрел холоднее.

– Вероятно.

– А ты боялся, что если дашь раньше, получится, что мятежом можно заставить государя уступать. – Пауза стала другой.

– Да.

Вот теперь конфликт впервые возник передо мной не как вопрос злой или доброй воли, а как структура стимулов, знакомая почти до боли. Обе стороны могли считать компромисс опасным именно потому, что порядок шагов менял значение уступки. Варшава хотела гарантий до разоружения, потому что после него теряла рычаг. Николай требовал разоружения до переговоров, потому что переговоры под оружием превращали мятеж в способ получить уступки.

– Тогда вы оба могли хотеть договориться и всё равно не договориться. – Папа чуть прищурился.

- Ты очень быстро переходишь от вопросов к выводам.
- Это плохой вывод?
- Нет. Неполный.
- Что я пропустил?
- То, что не всякая сторона действительно хочет договориться. В Варшаве есть люди, для которых любая связь с Россией уже неприемлема. Есть те, кто считает уступку слабостью. Есть люди, убивавшие собственных генералов за отказ присоединиться к мятежу. С ними ты что предлагаешь обсуждать?
- Ничего, если они не хотят обсуждать.
- Вот видишь.
- Но это опять не все. – Николай устало выдохнул.
- Саша.
- Правда не все.
- Конечно, не все.
- Тогда почему все говорят «поляки»? – Он посмотрел на меня как на человека, который только что потребовал перестроить грамматику.
- Потому что невозможно каждый раз перечислять: мятежный сейм, армия, офицеры, жители Варшавы, шляхта, крестьяне и бог знает кто ещё.
- Я понимаю, что невозможно. Но потом можно забыть, что это сокращение. – Папа замолчал. Я не торопился заполнять паузу.
- Что ты хочешь сказать?
- Пока ничего. Я думаю. Вот если войска войдут в Польшу и победят...
- Когда победят.
- Хорошо. Когда победят. Что будет с людьми, которые не участвовали?
- Ничего.
- Совсем?
- А что с ними должно быть?
- Не знаю. Поэтому спрашиваю. Их имущество останется? Их не будут наказывать за то, что они поляки? Сейм разогнать можно. Армию разоружить можно. Тех, кто воевал, можно судить. А остальные? – Николай смотрел уже совершенно серьёзно.
- С чего ты взял, что я собираюсь наказывать людей за то, что они поляки?
- Ни с чего.
- Тогда зачем спрашиваешь?
- Потому что вокруг постоянно говорят «поляки взбунтовались». Я хочу знать, что после победы это не превратится в «поляки наказаны». – Папа отвёл взгляд к окну. За стеклом отражалась комната, поэтому вместо тёмного Петербурга я видел его лицо ещё раз, чуть бледнее.
- Государь не должен мстить народам.
- Хорошо.
- Но мятеж должен иметь последствия.
- Для кого? – Он снова посмотрел на меня и ответил не сразу.
- Для виновных. Для учреждений, которые оказались орудием мятежа. Для системы, которая позволила ему возникнуть.
- А если система позволила возникнуть потому, что люди были недовольны тем, как она работала?
- Ты опять защищаешь мятежников? – Я почувствовал раздражение и тут же понял, что именно в таких местах люди обычно перестают слышать друг друга.
- Нет. Я пытаюсь понять, что сделать, чтобы через десять лет не пришлось подавлять следующий мятеж. – Николай замер. Я тоже. Фраза вырвалась слишком взрослой, не по словам, а по направлению мысли. Однако Папа не удивился, только устало провёл рукой по лицу.

- Через десять лет тебе будет двадцать два.
- Я умею считать.
- Уже замечаю. – Он встал, прошёл несколько шагов и остановился у стола.
- Ты думаешь, я этого не хочу?
- Чего?
- Чтобы это не повторилось.
- Конечно хочешь.
- Тогда почему говоришь так, будто только что мне сообщил эту возможность?
- Я не хотел.
- Хотел. – Он не сердился по-настоящему. Скорее я задел место, которое болело и без

меня.

- Прости. – Николай помолчал, потом сел обратно.
- Не извиняйся. Просто запомни одну вещь. Когда читаешь о государственных делах, всегда кажется, что у правителя есть выбор между хорошим решением и плохим. В жизни часто выбираешь между решениями, каждое из которых принесёт дурные последствия. Если сейчас оставить мятеж без наказания, что увидит следующий заговорщик?
- Что мятежом можно добиться своего.
- Да. Если уничтожить всё польское устройство?
- Что мирное подчинение тоже ничего не гарантирует. – Папа посмотрел резко. Я пожал

плечами.

- Ты сам сказал, что плохие последствия есть у обоих решений. – Несколько секунд он молчал, потом неожиданно улыбнулся.
- Иногда я жалею, что ты выздоровел настолько хорошо.
- Карл Карлович тоже.
- Умный человек.

Разговор закончился без решения, и именно это понравилось мне больше всего. Папа не сказал: «Ты прав». Я не убедил его отказаться от будущей политики, о которой сам пока знал только результат. Но вопрос остался между нами. На следующий день я продолжил разговор уже с Мердером. Мы ехали верхом по очищенной дорожке. Снег скрипел под копытами, лошади шли спокойно, а я уже достаточно освоился с возвращённым навыком, чтобы разговаривать, не следя постоянно за собственными руками.

- Карл Карлович, вы когда-нибудь были в Польше?
- Был.
- Вам там нравилось?
- Местами.
- Поляки нравились? – Мердер посмотрел на меня.
- Начинается.
- Что?
- Вы специально задаёте вопрос так, чтобы потом придаться к ответу.
- Нет.
- Специально.
- Хорошо. Какие поляки вам нравились?
- Вот это уже честнее.

Он рассказал о нескольких офицерах, с которыми был знаком, о доме, где его принимали, о людях совершенно разных характеров. Один оказался весёлым и отчаянным, другой занудным, третий прекрасно образованным, четвёртый человеком, которому Мердер не доверил бы даже собственные перчатки.

- Значит, поляки разные.
- Поразительное открытие.

- А почему тогда после мятежа люди начинают говорить о них как об одном человеке?
- Потому что во время конфликта так проще.
- И опаснее.
- Иногда.
- Папа говорит, государь не должен мстить народам.
- Правильно говорит.
- Но если после победы отменить их устройство, поляки будут считать это наказанием народа.
- Возможно.
- А Папа будет считать наказанием системы.
- Возможно.
- И оба будут искренне правы в собственном описании.
- Александр Николаевич, вы хотите, чтобы я разрешил этот спор до обеда?
- Нет. Я думаю, можно ли что-нибудь сделать до того, как спор станет ещё хуже.
- Вам двенадцать лет.
- Я помню.
- Иногда у меня возникают сомнения. – Я засмеялся.
- Я не собираюсь командовать армией.
- Рад слышать.
- И писать Папе проекты.
- Ещё больше рад.
- Но я могу спрашивать.
- Этого вам никто запретить не способен.

В действительности решение было именно таким маленьким. Я не мог остановить войну, которая уже почти начиналась, не мог воскресить переговоры одним советом и не знал достаточно, чтобы предлагать устройство польской автономии. Но я мог постоянно возвращать в разговор несколько различий, которые в кризисе легко стирались: мятежники не равны всему населению, требование не равно мотиву, институт не равен народу, подавление вооружённого выступления не требует унижения тех, кто не воевал. Не программа и даже не совет. Просто хорошие вопросы в правильный момент.

Первые признаки того, что они куда-то попадают, появились через несколько дней. Я пришёл к Папе по совершенно другому поводу. Он обещал показать один из настоящих губернских отчётов после того, как меня окончательно признают выздоровевшим, и я решил напомнить. В приёмной пришлось ждать. Дверь кабинета была прикрыта неплотно, голоса слышались, хотя слов сначала разобрать не удавалось. Я сидел с книгой и старательно не слушал, пока внутри кто-то не произнёс:

– Польша должна почувствовать...

Папа перебил:

– Не говорите мне «Польша».

Я поднял глаза. В кабинете стало тихо. Николай продолжил:

– Кто именно должен почувствовать? Сейм? Армия? Варшавские зачинщики? Землевладельцы? Крестьяне? Я не собираюсь воевать с географическим названием. Говорите точно.

Я сидел совершенно неподвижно. Человек внутри начал объяснять заново, уже другими словами. Папа не повторил мою фразу буквально. Возможно, вообще не помнил, откуда возникло раздражение к обобщению. Не имело значения. Вопрос оказался полезным. Когда посетитель вышел, я узнал одного из высоких военных и постарался не смотреть на него слишком заинтересованно. Секретарь сообщил обо мне, и через минуту Папа велел войти.

– Что тебе?

– Ты обещал отчёт. – Николай несколько секунд смотрел, потом рассмеялся.

– В стране мятеж, армия готовится к походу, а наследник требует губернаторский отчёт.
– Ты обещал.
– Это худшее, чему я тебя научил.
– Держать слово?
– Помнить обещания государя. – Он нашёл среди бумаг другую папку, позвал секретаря и велел подобрать мне что-нибудь достаточно понятное, но настоящее. Я не удержался.
– Папа.
– Что ещё?
– Я слышал немного из разговора.
– Подслушивал?
– Дверь была открыта.
– Это не ответ.
– Тогда не специально.
– И?
– Ничего.
– Саша.
– Мне понравилось, что ты спросил «кто именно». – Николай посмотрел на меня, и на секунду я увидел в его лице узнавание.
– А. Вот откуда это.
– Ты забыл?
– У меня, представь себе, есть и другие источники мыслей, кроме тебя.
– Я не сомневаюсь.
– По лицу видно обратное. – Я улыбнулся. Он протянул руку и легко щёлкнул меня пальцем по лбу.
– Не гордись слишком сильно. Точность формулировки ещё не выигрывает войну.
– Я знаю.
– Хорошо.
Я уже собирался уходить, когда он добавил:
– Но иногда не позволяет начать не ту.
Я остановился. Папа снова смотрел в бумаги, словно ничего особенного не сказал. Через несколько минут мне принесли обещанный отчёт, и остаток дня прошёл совершенно в другом занятии. Я впервые разбирался в настоящей административной бумаге, ругался про себя на отсутствие нужных показателей, пытался понять, почему два числа не сходятся, и досаждал Арсеньеву вопросами. Польша временно отступила. В этом тоже было что-то правильное. Нельзя жить внутри одного кризиса постоянно, даже если знаешь, что он станет историей.
Однако вечером я снова открыл тетрадь. Под вопросом «Как государь узнаёт, что полученные сведения верны?» появилось несколько новых строк. Ниже я написал: «Когда говорят о народе, кто именно сделал то, о чём говорят?» Потом подумал и добавил: «Что изменится, если заменить название народа названием людей или учреждения, которые действительно приняли решение?» Это уже звучало слишком похоже на методологическое упражнение, поэтому я перечеркнул вторую формулировку и написал проще: «Кто именно?» Этого хватало. Историческое знание по-прежнему беспокоило. Я помнил, что восстание будет подавлено, но теперь осторожнее относился даже к этому знанию. «Будет подавлено» описывало результат, а не путь. Между январём и поражением лежали месяцы решений, боёв, переговоров, ошибок и случайностей. Моё прошлое существовало лишь в одном варианте этих событий. Уже одно моё присутствие означало, что полного совпадения больше не гарантировано, хотя было бы самонадеянно считать себя причиной любого будущего отклонения. Я не знал, насколько можно изменить польскую историю. Пока мне удалось изменить одну фразу в одном разговоре. Для двенадцати лет это оказалось неожиданно много.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.